

18+

ЖАН-БАТИСТ КРЕВЬЕ

**ИСТОРИЯ
РИМСКИХ
ИМПЕРАТОРОВ
ОТ АВГУСТА
ДО КОНСТАНТИНА**

ТОМ 4. ГАЛЬБА, ОТТОН,
ВИТЕЛЛИЙ, ВЕСПАСИАН

Жан-Батист Кревье

**История римских императоров
от Августа до Константина.
Том 4. Гальба, Оттон,
Вителлий, Веспасиан**

«Издательские решения»

Кревьё Ж.

История римских императоров от Августа до Константина.
Том 4. Гальба, Оттон, Вителлий, Веспасиан / Ж. Кревьё —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-658769-4

Его «История римских императоров» является логическим продолжением его работы о Риме, анализируя императорских деятелей, их политику, войны и влияние на империю. В четвертом томе Жан-Батист Кревьё следует хронологическому подходу, рассматривая каждого императора, включая: четырех императоров (Гальба, Оттон, Вителлий, Веспасиан)

ISBN 978-5-00-658769-4

© Кревьё Ж.
© Издательские решения

Содержание

Гальба и Оттон	6
Книга первая	6
§ I. Гальба	6
§ II. Оттон	27
Конец ознакомительного фрагмента.	43

История римских императоров от Августа до Константина Том 4. Гальба, Оттон, Вителлий, Веспасиан

Жан-Батист Кревьё

Переводчик Валерий Алексеевич Антонов

© Жан-Батист Кревьё, 2025

© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2025

ISBN 978-5-0065-8769-4 (т. 4)

ISBN 978-5-0065-8411-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Гальба и Оттон

Книга первая

§ I. Гальба

Пресечение дома Цезарей стало важной вехой в истории римских императоров. До этого времени, хотя оружие и было источником, силой и опорой императорской власти, некое подобие права наследования смягчало и ограничивало власть военных, не позволяя им распоряжаться империей исключительно по своему произволу. Со смертью Нерона, как говорит Тацит [1], раскрылась государственная тайна: стало известно, что императора можно провозгласить не только в Риме, и, что еще важнее, что только сила решает этот выбор, и что войска являются его полновластными хозяевами.

Чудовищная щедрость, обещанная Нимфидием преторианцам, довела зло до предела. Крайне вредным для общественного блага было то, что солдаты даруют империю – они научились ее продавать. Отсюда последовала череда переворотов и трагических катастроф. Гальба, не сумев и не пожелав выполнить обещание Нимфидиса, разочаровал алчность преторианцев, и они обратили свои взоры к Отону. Провинциальные армии заявили, что имеют не меньше прав назначать императора, чем преторианцы, и возвели своих командиров на вершину власти. Таким образом, за очень короткий срок три императора быстро сменили друг друга на сцене, почти как театральные короли. Римская империя погрузилась в хаос и была охвачена пламенем, пока мудрость Веспасиана и его ближайших преемников (если не считать Домициана) не вернула на время спокойствие и не восстановила порядок, разрушенный насилием.

Но коренной порок сохранился. Войска, созданные для повиновения, слишком хорошо осознали свое превосходство над гражданской властью, чтобы когда-либо забыть об этом. Даже самые прочно утвердившиеся принцепсы были вынуждены чрезвычайно им угождать. В конце концов они полностью взяли верх. Капризы солдат возводили и свергали императоров и, через череду потрясений, привели к падению империи. Такова хрупкость всех человеческих дел: даже в том, что составляет их силу, заложено начало их гибели. Возвращаюсь к нити событий.

Г. СИЛИЙ ИТАЛИК. – М. ГАЛЬБЕЙ ТРАХАЛ. 819 г. от основания Рима. 68 г. от Р. Х.

Ко времени смерти Нерона, случившейся, как я уже говорил, 11 июня, Гальба находился в Клунии в величайшем смятении. Он ожидал лишь смерти, когда из Рима явился вольноотпущенник Икел с известием о гибели его врага. Этот человек оставался в городе ровно столько, сколько потребовалось, чтобы удостовериться в правдивости слухов и собственными глазами увидеть мертвое тело Нерона; затем он немедленно отправился в путь, двигаясь с такой быстротой, что за семь дней добрался из Рима в Клунию. Таким образом, он сообщил Гальбе, что преторианские когорты, а вслед за ними сенат и народ, провозгласили его императором еще при жизни Нерона, и рассказал о злосчастной судьбе принцепса, оставившего престол вакантным.

Услышав эти радостные вести, Гальба в одно мгновение перешел от печали и почти отчаяния к радости и уверенности: вокруг него тут же образовался многочисленный двор из людей всех сословий, наперебой поздравлявших его; а два дня спустя, получив посланца от сената, подтвердившего слова Икела, он отказался от титула легата сената и римского народа, принял имя Цезаря, ставшее обозначением верховной власти, и начал готовиться к скорому отъезду, чтобы вступить в полное владение столицей.

Икел был щедро вознагражден за свое путешествие. Его патрон, ставший императором, даровал ему золотое кольцо, возвел в ранг всадников, нареки его Марцианом, чтобы скрыть низость его прежнего состояния, и позволил ему приобрести такое влияние и власть, которыми эта рабская душа злоупотребила самым чудовищным образом.

Вначале Гальбе все удавалось. Виргиний неуклонно придерживался своего плана – предоставить сенату выбор императора. После смерти Нерона легионы под его командованием вновь стали упрашивать его согласиться занять трон Цезарей; более того, один трибун, протянув ему обнаженный меч, потребовал, чтобы он либо принял империю, либо принял меч в свое тело. Ничто не могло заставить этого великого человека отказаться от своих принципов умеренности; и он так настойчиво убеждал солдат признать того, кого сенат объявил императором, что в конце концов, хотя и с большим трудом, добился от них присяги на верность Гальбе.

Он пошел еще дальше: когда Гальба прислал ему преемника, Гордеония Флакка, Виргиний передал этому легату командование армией и явился к своему императору, который пригласил его, словно из дружеских чувств. Его приняли довольно холодно: одно слово Тацита дает нам понять, что против него даже было выдвинуто обвинение. Впрочем, ничего плохого с ним не случилось. Гальба, несомненно, желал бы большей преданности с его стороны, но все же уважал его добродетель. Однако приближенные мешали ему проявлять это уважение, считая великодушием уже то, что они оставляют в живых человека, столько раз провозглашавшегося императором. Зависть побуждала их унижать его. Они не понимали, говорит Плутарх, что оказывали ему услугу и что их недоброжелательство способствовало счастью Виргиния, обеспечивая ему тихое убежище, где он был защищен от потрясений и бурь, погубивших одного за другим столько императоров.

Армия Нижней Германии также признала Гальбу, но это стоило жизни её командиру Фонтю Капитону. Это был человек, совершенно непохожий на Виргиния, и он стал ненавиден из-за своей жадности и тиранической гордыни. Утверждали, что он стремился к верховной власти; и эпизод, приведённый Дионом, может подтвердить это подозрение. Когда один обвиняемый апеллировал от решения этого легата к Цезарю, Капитон взошёл на возвышение и сказал: «Теперь обращай к Цезарю» – и, заставив его изложить доводы защиты, приговорил к смерти. Этот поступок дерзок и может свидетельствовать о честолюбивых замыслах. Достоверно то, что под предлогом его мятежных планов Корнелий Аквин и Фабий Валенс, командовавшие под его началом двумя легионами его армии, убили его, не дожидаясь приказа Гальбы. Некоторые полагали, что эти легаты сами подстрекали его провозгласить себя императором, и, не сумев его убедить, решили устранить его как свидетеля, который мог им навредить. Гальба одобрил убийство Капитона – то ли по легковерию, то ли потому, что не осмелился слишком глубоко вникать в такое деликатное дело, опасаясь обнаружить виновных, которых не смог бы наказать. Таким образом, Гальба был признан обеими германскими армиями.

Клодий Макер в Африке попытался посеять смуту. Ненавидимый за грабежи и жестокость, он решил, что ему остаётся лишь укрепиться в своей провинции и попытаться превратить её в собственное владение и небольшое государство. В этом замысле ему помогала Гальвия Криспинилла, женщина столь же дерзкая, сколь и искушённая в разврате, которому она обучала Нерона. Мы видели, как она сопровождала этого принца в Греции. В описываемое время она отправилась в Африку и вместе с Макером попыталась уморить Рим и Италию голодом, задерживая корабли, везущие туда зерно. Но Требоний Гаруциан, императорский прокуратор, по приказу Гальбы убил Макера, восстановив тем самым спокойствие в стране.

В остальных провинциях не было никаких волнений, и все покорно подчинились Гальбе. Говорили, что он заподозрил Веспасиана, который в то время воевал против иудеев, и даже послал убийц, чтобы устранить его. Это кажется маловероятным; достоверно же то, что Веспасиан ничего об этом не знал, ибо отправил своего сына Тита принести присягу новому императору.

Рим, который определил выбор провинций в пользу Гальбы, неожиданно сам стал источником беспокойства и тревоги для него. Причиной бедствий стало честолюбие Нимфидия, который, стремясь к трону, начал с того, что захватил всю власть в городе. Он презирал Гальбу как слабого и дряхлого старика, который едва ли сможет добраться до Рима в носилках. Напротив, он приписывал себе одному славу свержения Нерона и считал, что пользуется мощной поддержкой преторианских когорт, преданность которых ему лично, подогретая огромными посулами, заставляла их видеть в Нимфидии своего благодетеля, а в Гальбе – лишь должника.

Одержимый этими тщеславными идеями, он приказал своему коллеге Тигеллину сложить с себя меч префекта претория. Он старался привлечь на свою сторону видных сенаторов, приглашая на пиры консуляров и бывших преторов – якобы от имени Гальбы, тогда как действовал в собственных интересах. Он подослал тайных агентов, которые в лагере преторианцев убеждали солдат требовать от Гальбы назначения Нимфидия их единственным и пожизненным командиром. Низкопоклонство сената ещё больше разожгло безумие этого честолюбца. Он видел, как первое сословие империи величает его защитником. Сенаторы толпами являлись к нему с изъявлениями покорности; от него ждали, что он будет диктовать все постановления сената и утверждать их. Раздутый от такого чрезмерного почтения, он вскоре стал внушать страх даже тем, кто хотел снискать его благосклонность.

Консулы поручили государственным рабам доставить Гальбе постановление о признании его императором и дали им запечатанные письма, чтобы те могли получать лошадей на всём пути. Нимфидий крайне возмутился, что для этого поручения не взяли его солдат и не воспользовались его печатью. В гневе он всерьёз задумал заставить консулов раскаяться, и этим вышшим магистратам пришлось приложить усилия, чтобы умиловить его униженными извинениями.

В планах Нимфидия было привлечь на свою сторону народ. Он старался завоевать его расположение, попустительствуя вседозволенности. Он позволил толпе волочить по улицам статуи Нерона и провозить их по телу гладиатора, который был любимцем этого несчастного принца. Доносчика Апония положили на землю под телегу, гружённую камнями, которая раздавила его; многих других растерзали на части, включая невиновных, так что Юний Маврик, человек, чрезвычайно уважаемый за мудрость и добродетель, открыто заявил в сенате: «Боюсь, нам скоро придётся пожалеть о Нероне».

Нимфидий, считая, что опирается на народ и солдат, а сенат держит в рабстве, решил, что должен действовать дальше и предпринять шаги, которые, не раскрывая его полностью, всё же приблизят осуществление его замыслов. Ему было мало наслаждаться почестями и богатствами верховной власти, подражать самым постыдным порокам Нерона и, подобно ему, жениться на презренном Споре – он хотел официально стать императором. И он принялся склонять умы в Риме в пользу своего безумного замысла через друзей, подкупленных сенаторов и интриганок. В то же время он отправил к Гальбе одного из своих ближайших доверенных, по имени Геллиан, чтобы выведать настроения нового принца и определить, как легче на него напасть.

Геллиан нашел дела в таком состоянии, что это могло привести Нимфидия в отчаяние. Корнелий Лакон был назначен Гальбой префектом претория; Т. Винтий имел полную власть над умом императора, и ничего не делалось без его приказаний; так что посланный Нимфидия, заподозренный и окруженный наблюдением, даже не смог добиться личной аудиенции у Гальбы.

Нимфидий, встревоженный докладом Геллана, собрал главных офицеров преторианских когорт и сказал им, что Гальба – старик почтенный, исполненный мягкости и умеренности, но что он мало управляет сам собой и следует внушениям двух министров, чьи намерения не были добрыми – Виния и Лакона: что поэтому, пока они не укрепились и не приобрели постепенно власти, подобной власти Тигеллина, следовало бы отправить к императору депу-

татов из лагеря, чтобы представить ему, что, удалив от себя и от двора только этих двух людей, он сделался бы более приятным и нашел бы сердца лучше расположенными в свою пользу по прибытии в Рим. Предложение Нимфидия не было принято. Сочли неприличным пытаться давать уроки императору возраста Гальбы и предписывать ему, как молодому государю, только начинающему вкушать сладость власти, кому он должен доверять.

Нимфидий избрал другой путь: он попытался устрашить Гальбу, преувеличивая опасности. Он написал ему, что в Риме умы волнуются и грозят новым переворотом; что Клодий Макер (чью смерть я уже упомянул заранее) бунтует в Африке; что легионы Германии питают недовольство, которое может скоро вспыхнуть, и что он узнал, будто легионы Сирии и Иудеи находятся в таком же настроении. Гальба не стал жертвой этих пустых уловок и не поколебался от страхов, явно преувеличенных с умыслом, и продолжал свой путь к Риму; так что Нимфидий, рассчитывавший, что прибытие Гальбы будет его гибелью, решил предупредить его. Клодий Цельс из Антиохии, один из его самых верных друзей и человек рассудительный, отговаривал его от этого и уверял, что не найдется в Риме ни одного дома, который согласился бы назвать Нимфидия Цезарем. Но большинство смеялось над его осторожностью: особенно Митридат, некогда царь части Понта, покорившийся Клавдию, как я уже упоминал, и с тех пор не покидавший Рима, издевался над лысиной и морщинами Гальбы; он говорил, что издали этот добрый старик кажется римлянам чем-то значительным, но вблизи его сочтут позором дней, в которые он носил имя Цезаря. Этот образ мыслей, льстивший честолюбию Нимфидия, был одобрен, и его сторонники согласились отвести его около полуночи в лагерь преторианцев и провозгласить императором.

Часть солдат была подкуплена, но Антоний Гонорат, трибун одной из преторианских когорт, разрушил эти планы. Под вечер он собрал своих подчиненных и представил им, каким позором они покроют себя, столь часто меняя сторону в столь короткий срок, и притом без законной причины, не руководствуясь любовью к добру, а словно по наущению злого духа, переходя от измены к измене. «Наша первая перемена, – добавил он, – имела основание, и преступления Нерона оправдывают нас. Но здесь – разве мы можем упрекнуть Гальбу в убийстве матери или жены? Разве нам стыдно за императора, который играет роль комедианта и выходит на сцену? И однако, не по этим причинам мы оставили Нерона; Нимфидий обманул нас, заставив поверить, что этот государь первым нас покинул и бежал в Египет. Неужели мы хотим сделать из Гальбы жертву, которую принесем на гробнице Нерона? Неужели мы намерены назвать Цезарем сына Нимфидии и убить государя, близкого к Ливии, как мы заставили покончить с собой сына Агриппины? Нет! Лучше накажем этого за его преступления и одним ударом отомстим за Нерона и докажем нашу верность Гальбе».

Эта речь произвела впечатление на солдат, которые ее слышали; они передали свои мысли товарищам и вернули большую часть к долгу. Раздался крик, и все взялись за оружие.

Этот крик стал для Нимфидия сигналом идти в лагерь – то ли он вообразил, что солдаты зовут его, то ли хотел предотвратить начинающийся бунт. И так, он явился при свете множества факелов, вооруженный речью, составленной для него Цингонием Варроном, назначенным консулом, и заученной наизусть, чтобы произнести ее перед собранными преторианцами. Приблизившись, он нашел ворота закрытыми, а стены усеянными солдатами. В испуге он спросил, против кого они вооружились и по чьему приказу. Ему ответили единодушным криком, что они признают Гальбу императором. Нимфидий сохранил присутствие духа, присоединил свои приветствия к крикам солдат и приказал своей свите сделать то же. Однако этим он не избег гибели. Его впустили в лагерь, но лишь для того, чтобы пронзить тысячей ударов; и когда он был убит, его тело, окруженное решеткой, оставалось весь день на виду у всех, кто хотел насытить взоры этим зрелищем.

Это было счастливым событием для Гальбы, который оказался избавленным от недостойного соперника, чей беспокойный гений мог внушать опасения, не приложив к тому никаких

усилий. Но он опозорил этот дар судьбы жестокостью. Он приказал казнить Митридата и Цингония Варрона как сообщников Нимфидия. Петроний Турпилиан, избранный Нероном в полководцы, также был умерщвлен по приказу Гальбы; и эти знаменитые люди, казненные военным порядком без всякого суда, казались в глазах публики почти невинными угнетенными [2].

От Гальбы ожидали совершенно иного, и насилия с его стороны возмущали тем сильнее, что их менее всего предвидели. Он уже начал отступать от той простоты, с которой заявил о себе. Все были очарованы тем, как он принял депутатов сената в Нарбонне. Не только он оказал им самый любезный прием, без пышности, без высокомерия, но и на пирах, которые им устроил, отказался пользоваться услугами придворных слуг Нерона, присланных к нему, и довольствовался своими собственными. Вследствие этого его сочли человеком высокого ума, презирающим тщеславную показуху, которую пытаются выдать за величие. Но вскоре Винтий, влияние которого на Гальбу стремительно росло день ото дня, заставил его изменить систему и отказаться от этой старинной простоты; он убедил его, что вместо этих скромных и народных манер, которые были лишь непристойной лестью толпе, он должен поддерживать свой ранг достойной владыки вселенной пышностью. Итак, Гальба взял всех слуг Нерона и обставил свой дом, экипажи и стол по-императорски.

Винтий, которому предстояло играть первую роль в империи в течение нескольких месяцев, был человеком, мало достойным доверия такого принца, как Гальба. Рожденный в почтенной семье, которая, однако, никогда не поднималась выше претуры, он вел в молодости распутную жизнь: в первых своих походах он осмелился обесчестить своего генерала Кальвися Сабина, соблазнив его жену, проникшую в лагерь в солдатской одежде. За это преступление Калигула велел заковать его в цепи. Освобожденный из тюрьмы переворотом, последовавшим за смертью этого принца, Винтий навлек на себя новую неприятность, но уже другого рода, при Клавдии. Его заподозрили в том, что он имел столь низкую и рабскую душу, что украл золотой сосуд со стола императора, где он трапезничал; и Клавдий на следующий день, вновь пригласив его, велел подавать ему еду исключительно в глиняной посуде. Однако он оправился от этого двойного позора: будучи деятельным, пылким, хитрым и столь же дерзким, он сумел пройти путь почестей вплоть до претуры; и, что еще удивительнее, управлял Нарбоннской Галлией, заслужив репутацию сурового и неподкупного человека. Это был один из тех характеров, одинаково склонных и к добру, и к злу в зависимости от обстоятельств [3], созданных для успеха, в какую бы сторону ни направили они данные им от природы таланты. Вознесенный милостью Гальбы на вершину богатства, он дал там полную волю своим порокам, и особенно своей жадности к деньгам; и, сверкнув, как молния, мы увидим, как он падет вместе со своим господином, чье падение во многом сам же и вызвал.

Хотя Винтий занимал самое высокое положение при дворе Гальбы, Корнелий Лакон, префект претория, также имел большое влияние; и сочетание самого подлого из людей с самым порочным [4] объединяло против правительства принца, которого они обступали, ненависть и презрение. В разделе власти с ними участвовал вольноотпущенник Икел, или Марциан. Вместе они составляли триумвират наставников – так их называли в Риме, – которые не отходили от слабого старика и вели его по своему усмотрению.

Их воздействию следует приписать почти все ошибки Гальбы. Без сомнения, он был ограниченного ума, скуп, суров до жестокости; но в глубине души имел самые честные намерения: он любил справедливость, порядок, законы. Эти качества, столь ценные в государе, оказались бесполезны для общественного блага из-за слепого доверия, которое он питал к министрам, искавшим лишь собственной выгоды. Принц желал добра, а творилось зло с необузданной свободой. Вину возлагали на Гальбу, справедливо считая его ответственным за дурное поведение тех, кто злоупотреблял его властью. Ибо, по меткому замечанию Диона, частным лицам достаточно не совершать несправедливостей, но те, кто управляет, должны даже предотвращать их

совершение другими. Для страдающих неважно, от кого исходит зло, раз они становятся его жертвами.

Я уже говорил, что Гальба оттолкнул от себя умы различными актами жестокости против знатных особ. Он даже напускал на себя устрашающий вид, надев военную тунику, будто собирался начать или вести войну, и носил кинжал, который, привязанный к шее лентой, свисал у него на груди. Почти весь свой путь он проделал в этом наряде, который делал дряхлого, страдающего подагрой старика скорее смешным, чем страшным; и вернулся к мирной одежде лишь после смерти Нимфиция, Мацера и Капитона. Деяния соответствовали этим угрожающим заявлениям. Он сурово обошелся с городами Испании и Галлии, которые медлили объявить себя за него; одних наказал увеличением податей, других – разрушением их стен. Он казнил управляющих и других чиновников вместе с их женами и детьми. Но ничто не сделало его более ненавистным, чем резня, запятнавшая и наполнившая ужасом его вступление в Рим. Морские солдаты, которых Нерон сформировал в легион и которые благодаря этому приобрели более почетное воинское звание у римлян, встретили Гальбу у Понте-Моле, в трех милях от города, и громкими криками потребовали подтверждения милости его предшественника. Гальба, строго придерживавшийся воинской дисциплины, отложил рассмотрение их просьбы. Они поняли, что эта отсрочка равносильна отказу, и стали настаивать непочтительно, а некоторые даже обнажили мечи. Эта дерзость заслуживала наказания; но Гальба перешел границы, приказав сопровождавшей его кавалерии перебить этих несчастных. Они не были должным образом вооружены и не оказали сопротивления, что не помешало их бесчеловечному избитию, в котором погибли многие тысячи. Некоторые сдались, умоляя о милости императора, и были подвергнуты децимации. Это кровавое деяние вызвало справедливые жалобы и поразило ужасом даже тех, кто был его исполнителем.

Черты скупости [у Гальбы] были не менее заметны. Жители Таррагоны преподнесли ему золотой венец весом в пятнадцать фунтов; он велел его переплавить и потребовал доплаты за недостающие три унции. Он распустил германскую когорту, которую цезари содержали для своей охраны и которая никогда не изменяла; этих иностранцев он отослал на родину без всякого вознаграждения. Ходили даже злые анекдоты, может быть, и не особенно достоверные, но делавшие его совершенно смешным. Говорили, например, что, увидев однажды, что ему подали ужин, стоивший, по-видимому, довольно дорого, он простонал от боли; что, желая отблагодарить своего управляющего за усердие и заботы, – тот представил ему свои счета в образцовом порядке, – он подарил ему блюдо овощей; что знаменитый флейтист по имени Кан, доставивший ему большое удовольствие своей игрой во время обеда, получил из его кошелька пять денариев, причем Гальба заметил, что это его собственные деньги, а не государственные. Эти мелочи сильно повредили его репутации, и всеобщее уважение, которым он пользовался в момент избрания, ко времени его прибытия в Рим уже сменилось презрением.

Он сразу же в этом убедился. Во время одного из зрелищ актеры, исполнявшие нечто вроде комической оперы, запели очень известную песенку, первые слова которой означали: «Вот старый скряга приехал со своей фермы». Вся публика подхватила песню, относя ее к Гальбе, и повторяла ее много раз.

Его последующие поступки не изменили сложившегося о нем мнения, потому что даже похвальные меры, которые он предпринимал, сопровождались обстоятельствами, уменьшавшими их ценность, и полностью портились недостойным поведением его приближенных. Чтобы пополнить опустевшую казну, он приказал провести расследование о безумных расточениях своего предшественника. Они достигали двухсот пятидесяти миллионов [сестерциев] и были розданы развратникам, шутам, поставщикам удовольствий Нерона. Гальба потребовал, чтобы с них всех были взысканы эти суммы, оставив им лишь десятую часть полученного. Но у них едва оставалась и эта десятая часть. Будучи столь же расточительными с чужим, как и со своим, они не владели ни землями, ни доходами [5]. Самые богатые из них сохранили

лишь движимое имущество, которое роскошь и их пристрастие ко всему, что служит пороку и изнеженности, сделало для них драгоценным. Гальба, неумолимый в денежных вопросах, найдя несостоятельными тех, кто получил дары от Нерона, распространил взыскания и на покупателей, приобретших у них что-либо. Легко представить, какие беспорядки и потрясения в имущественных отношениях вызвала эта операция, порученная тридцати римским всадникам. Множество добросовестных покупателей подвергались преследованиям; по всему городу не было видно ничего, кроме выставленных на продажу имуществ. Впрочем, для публики было отраднo видеть, что те, кого Нерон хотел обогатить, оказались столь же бедны, как и те, кого он разорил.

Но крайне раздражало то, что Винтий, вовлекавший императора в мелкие разбирательства и тяжбы, крайне обременительные для множества граждан, кичился своей роскошью перед теми, кого притеснял, и злоупотреблял своим влиянием, чтобы все продавать и все принимать. Он был не единственным, кто занимался этим промыслом. Все вольноотпущенники [7] и рабы Гальбы делали то же самое в меньших масштабах, торопясь воспользоваться внезапным возвышением, которое не могло длиться долго. Все, что находило покупателей, становилось предметом торговли: введение налогов, освобождение от них, привилегии, безнаказанность за преступления, осуждение невинных. При новом правительстве возрождались все пороки прежнего, и публика не была склонна их так же легко прощать.

Еще больше возмущала непоследовательность Гальбы в отношении наказания тех, кто был орудием жестокостей Нерона. Некоторые понесли заслуженную кару за свои преступления: Элий, Поликет, Патроб, отравительница Локуста и другие, не нашедшие защитников. Народ рукоплескал этим актам правосудия: когда этих знаменитых преступников вели на казнь, кричали, что нет для города праздника более отраднoго и что их кровь – самая угодная жертва богам; но добавляли, что боги и люди требуют смерти того, кто своими уроками сделал Нерона тираном – гнусного и зловерднoго Тигеллина.

Но хитрый негодяй последовал обычной тактике себе подобных: всегда не доверяя настоящему, всегда настороже против возможных перемен, они заранее обеспечивают себе могущественных друзей как защиту от народной ненависти и, укpывшись за ними, смело творят преступления, будучи уверены в безнаказанности. Тигеллин заранее принял меры, чтобы заручиться покровительством Виния. Еще в начале смуты он привязал его к себе, позаботившись спасти его дочь, которая, находясь в Риме во власти Нерона, рисковала жизнью; а недавно он пообещал тому же фавориту огромные суммы, если тот своим влиянием избавит его от опасности. Эти ловко рассчитанные меры увенчались успехом. Винтий взял его под свою защиту и выхлопотал у Гальбы обещание сохранить ему жизнь.

С изумлением сравнивали судьбу этого несчастного [Петрония Турпилиана] с участью Петрония Турпилиана, который, не имея иного преступления, кроме верности Нерону, был за это наказан казнью, тогда как тот, кто сделал Нерона достойным смерти, кто, доведя его развращение до предела, затем порвал с ним из корысти и добавил ко всем своим злодеяниям трусость и предательство, жил счастливо и спокойно: явное доказательство огромного влияния Виния и несомненной возможности добиться от него всего за деньги.

Возмущенный народ обрушился на Тигеллина. В цирке, в театре раздавались громкие требования его казни, которая стала бы для толпы сладчайшим зрелищем. В этом желании сходились все – и ненавидевшие Нерона, и тосковавшие по нему. Гальба, слепо повинувшись Винию, дошел до того, что приказал вывесить эдикт, в котором вставал на защиту этого отвратительного человека. Он заявлял, что Тигеллин не сможет долго прожить, ибо его истощает изнурительная болезнь, которая скоро сведет его в могилу. Он даже обвинял народ в жестокости и крайне негодовал, что его хотят заставить сделать свое правление ненавистным и тираническим.

Винтий и Тигеллин, торжествуя, издевались над народным горем. Тигеллин принес богам благодарственную жертву и устроил пышный пир; а Винтий, поужинав с императором, явился к Тигеллину на десерт со своей дочерью, вдовой. Тигеллин поднял тост за эту даму, оценив его в миллион сестерциев [8], и приказал главной наложнице своего гарема снять с себя ожерелье стоимостью в шестьсот тысяч сестерциев [9] и надеть его на шею дочери Виния. Тигеллин, однако, недолго наслаждался этим возмутительным безнаказанием: вскоре мы увидим, как при Отоне он наконец понесет кару за свои преступления.

Не нужно было быть столь значительным преступником, как он, чтобы получить прощение от Гальбы. Евнух Галот, отравивший Клавдия, один из самых рьяных подстрекателей жестокостей Нерона, не только избежал казни, но и получил богатую и почетную должность. Неизвестно, кто был его покровителем; но можно с уверенностью утверждать, что лучшего защитника, чем его деньги, у него не было.

У князя, которого ненавидят и презирают [10], даже добрые поступки истолковываются и воспринимаются плохо или, по крайней мере, не берутся в расчет. Гальба вернул из изгнания сосланных, разрешил наказывать доносчиков, отдал неблагодарных и наглых рабов на справедливую расправу их господам. Эти, безусловно, похвальные действия остались столь незамеченными, что Светоний и Плутарх даже не упомянули о них.

Гальба награждал города и народы Галлии, восставшие вместе с Виндексом, освобождением от четверти податей и даже дарованием римского гражданства. Было вполне естественно, что этот князь выразил признательность народам, которым был обязан империей. Но все убедились, что эти милости были куплены у Виния, и они стали поводом для ропота и недовольства против его господина.

Таким образом, общее настроение умов было неблагоприятным для Гальбы. Он окончательно погубил себя, разозлив солдат. Его суровость, прежде уважаемая и восхваляемая военными, стала вызывать у них подозрения, ибо за четырнадцать лет распушенности при правлении Нерона они научились бояться прежней дисциплины и любить пороки своих начальников так же сильно, как в иные времена уважали их добродетели. Одно слово Гальбы, весьма достойное императора, но опасное в сложившихся обстоятельствах, превратило их тайное недовольство в жестокую и яростную ненависть. Они ожидали получить если не щедрость, обещанную Нимфидием, то по крайней мере вознаграждение, подобное тому, что Нерон дал им при своем восшествии на престол. Гальба, узнав об их притязаниях, заявил, что он привык набирать солдат, а не покупать их. Они поняли, что эти слова не только лишают их подарка, но и отнимают всякую надежду на будущее, и будут восприняты как закон, продиктованный Гальбой своим преемникам. Они пришли в ярость; и их негодование могло казаться им тем более оправданным, что столь высокомерный тон, как мы видели, не подкреплялся остальными его поступками. Так все готовилось к перевороту в начале года, когда Гальба принял второе консульство вместе с Т. Винием.

СЕР. СУЛЬПИЦИЙ ГАЛЬБА ЦЕЗАРЬ АВГУСТ II. – Т. Винтий РУФИН. ОТ ОСН. РИМА 820. ОТ Р. X. 69.

Этот год примечателен в летописях человечества как необычайно богатый трагическими событиями, гражданскими войнами и жестокими потрясениями, которые последовательно потрясли все части вселенной. Тацит, стремясь ознакомить читателя не только с событиями, но и с их причинами, рисует здесь картину состояния империи перед тем, как разразились эти бури, и настроений, царивших среди граждан, провинций и солдат. Я уже заимствовал из нее несколько штрихов, естественно вписавшихся в мой рассказ: теперь же представляю ее целиком, избегая, однако, повторов.

Смерть Нерона сначала объединила всех в чувстве всеобщей радости, но вскоре вызвала самые разнообразные движения. Сенаторы оставались при мнении, которое закрепила в них ненависть к тирании. Они вкушали всю прелесть свободы, особенно сладкой после ужасней-

шего рабства и ничем не стесненной в своем первом порыве новым и отсутствующим принцепсом. Цвет сословия всадников, наиболее здравомыслящая часть народа всегда следовали настроениям сената. Но подлая чернь, привыкшая к удовольствиям цирка и театра, самые порочные из рабов, развращенные граждане, промотавшие свои состояния и жившие лишь за счет позорной щедрости Нерона, были недовольны, подавлены и жадно ловили слухи, которые могли льстить их надеждам на перемены. Даже возраст Гальбы давал повод для насмешек толпы, которая, оценивая своих правителей по внешности, с презрением сравнивала немощи и лысую голову старого императора с блистательной юностью Нерона.

Я достаточно изложил настроения преторианцев. Они покинули Нерона лишь потому, что были обмануты. Многие участвовали в заговоре Нимфиция, и, хотя вождь мятежа уже погиб, в их душах оставалась закваска горечи. Обманутые в обещанной им награде; не видя, если дела останутся спокойными, возможности оказать великие услуги и получить великие награды; мало надеясь на власть принцепса, обязанного своим возвышением легионам, – их верность была тем более шаткой, что они презирали Гальбу и открыто порицали его за старость и скудость.

Преторианцы были не единственными войсками, находившимися тогда в городе. Гальба привел с собой свой испанский легион; здесь же были остатки морского легиона, сформированного Нероном, а также отряды из армий Германии, Британии и Иллирика, которые тот же принцепс намеревался использовать против Виндекса. Всё вместе составляло огромное скопление военных, заполнивших Рим и представлявших значительную силу для того, кто сумел бы объединить их ещё не определившиеся желания в свою пользу.

Большая часть провинций оставалась спокойной. Но в Галлии и среди германских армий сильное брожение предвещало приближение страшной бури. Галлы с самого начала смуты разделились на две неравные партии. Большинство народов приняло сторону Виндекса; напротив, те, что жили по соседству с Германией, выступили против него и даже воевали с ним. Это разделение сохранялось. Прежние сторонники Виндекса оставались преданы Гальбе, осыпавшему их милостями. Народы Трира, Лангра и всей той области, лишённые благ, дарованных их соплеменникам, или даже наказанные конфискацией части их земель, соединяли зависть с негодованием и были не менее возмущены преимуществами, которыми пользовались другие, чем собственными страданиями.

Две германские армии [11], всегда готовые объединиться и грозные соединёнными силами, были одновременно недовольны и охвачены тревогой – настроение, весьма близкое к мятежу в могущественном войске. Гордые победой над Виндексом, они, с другой стороны, считали себя подозрительными в глазах Гальбы, как поддерживавшие интересы, противоположные его. Они лишь с большим опозданием позволили убедить себя покинуть Нерона. Они предлагали империю Вергинию, и, хотя были раздражены против этого великого человека, отказавшего им, всё же тяжело переносили, что его у них отняли. Его положение при дворе Гальбы, где он не имел влияния и даже был обвиняем, казалось им унижительным и позорным для них самих, и они почти считали себя обвинёнными в его лице.

Армия Верхнего Рейна презирала своего командующего Гордеония Флакка, дряхлого и страдающего подагрой старика, неспособного к последовательному руководству и не умевшего утвердить свою власть. Он не справился бы даже с управлением спокойным войском. Поэтому неистовые солдаты, находившиеся под его началом, лишь сильнее распалялись от его слабых попыток обуздать их. Легионы Нижнего Рейна после смерти Фонтя Капитона долгое время оставались без командира. Наконец Гальба прислал к ним Авла Вителлия, выбранного намеренно как человека незначительного, который не мог бы его обеспокоить.

Вителлий был личностью в высшей степени презренной, и среди его пороков первое место занимало низменное обжорство. Гальба полагал, что ему нечего бояться такого человека.

Он говорил, что те, кто думает только о еде, вовсе не страшны, и что живот Вителлия найдёт в богатой провинции, чем насытиться. События доказали, что Гальба ошибался.

Германия была единственной провинцией, грозившей скорыми беспорядками. Испания оставалась спокойной под мирным управлением Клувия Руфа, человека, знаменитого умственными дарованиями, оратора, историка, но неискущённого в военном деле. Никакие легионы не участвовали меньше британских в ужасах гражданских войн – то ли потому, что их удалённость и океан, отделявший их от остальной империи, ограждали их от заразы мятежного духа, то ли потому, что частые походы, державшие их в напряжении, занимали их энергию и научили лучше применять свою доблесть, обращая её против внешних врагов.

Иллирия, где легионы, размещённые в далеко отстоявших друг от друга лагерях, не смешивали ни своих сил, ни своих пороков, была защищена этой мудрой политикой от волнений и смут.

Восток также пребывал в спокойствии, и там пока не было видно никаких приготовлений к перевороту, который в конце концов определит судьбу империи, счастливо завершив все прочие. Муциан, которому Веспасиан впоследствии был обязан возвышением на трон Цезарей, командовал в Сирии четырьмя легионами [12]. Его судьба знала великие перемены. В молодости он приобрёл могущественных друзей, которым угождал со всей пылкостью честолюбия. Затем наступила неудача: его траты разорили его; положение его пошатнулось, он даже опасался гнева Клавдия и счёл себя счастливым, отделаться назначением в Азию на незначительную должность. Он провёл там некоторое время в положении, близком к изгнаннику, тогда как впоследствии оказался на пороге императорского величия.

Его характер был не менее противоречив, чем его судьба. В нём сочетались деятельная трудоспособность и сладострастная лень, мягкость и надменность. В покое им владели удовольствия; если же требовались дела, он проявлял великие достоинства. Внешне в нём не было ничего, кроме достойного похвалы; его частная жизнь пользовалась дурной славой. Умея принимать различные обличья в зависимости от того, с кем имел дело, он умел нравиться и подчинённым, и равным, и коллегам, и во всех сословиях приобрёл приверженцев и друзей. В целом он был более способен возвести другого на престол, чем удержаться на нём, если бы вздумал добиваться его для себя.

Веспасиан вёл войну против иудеев с тремя легионами. Он и не помышлял о противостоянии Гальбе, и я уже говорил, что отправил своего сына Тита, чтобы заверить его в своей покорности. Тиберий Александр, о котором мне уже не раз приходилось упоминать, иудей по рождению и племянник Филона, управлял Египтом и командовал войсками, охранявшими эту провинцию.

Африка после смерти Клавдия Мацера подчинилась сильнейшему и, недовольная слабым властителем, которого испытала, готова была принять любого императора. Две Мавритании, Реция, Норик, Фракия и прочие провинции, управляемые прокураторами, следовали настроениям соседних армий. Италия и безоружные провинции могли ожидать лишь участи стать добычей победителя.

Таково было состояние дел во всех частях империи, когда Гальба и Винтий, будучи консулами вместе, начали год, который стал для них последним и едва не оказался роковым для республики.

Через несколько дней после январских календ в Рим пришли письма от Помпея Пропинка, прокуратора Белгики, извещавшие двор, что легионы Верхнего Рейна, презрев присягу, которой обязались Гальбе, требуют другого императора и предоставляют выбор сенату и римскому народу, чтобы придать своему мятежу более благопристойный вид. Это движение, возведшее Вителлия на престол, будет рассказано с должной подробностью в более подходящем месте.

Узнав об этом, Гальба поспешил осуществить замысел, который он уже давно вынашивал, – назначить преемника через усыновление. Он был убеждён, что нет лучшего средства против надвигающейся угрозы, и что дерзость, с которой пренебрегают его властью, вызвана не столько его старостью, сколько неопределённостью престолонаследия из-за отсутствия твёрдо назначенного наследника.

Уже несколько месяцев он обдумывал этот план и даже советовался с теми, кому доверял. В городе только об этом и говорили – следствие всеобщей страсти людей вмешиваться в политику, хотя бы на словах, если уж не могут иначе. Но слухи, ходившие в народе, не имели серьёзных последствий. Министры Гальбы могли значительно повлиять на решение, и, будучи вечно разобщёнными по малейшим поводам, они разошлись ещё сильнее в столь важном вопросе.

Винтий поддерживал Отона, который действительно был самым очевидным кандидатом среди всех возможных. Я уже описывал Отона при правлении Нерона, когда он был его фаворитом, но затем, из-за Поппеи, был удалён от двора и отправлен управлять Лузитанией. Я упоминал, что из всех наместников провинций Отон первым объявил о поддержке Гальбы и проявил к нему великое рвение, тайным мотивом которого была надежда на усыновление, о котором он уже тогда мечтал. Эта надежда с каждым днём крепла в нём. Солдаты желали его возвышения; старый двор надеялся увидеть в нём нового Нерона.

Но рекомендация и поддержка Винтия обеспечили Отону противников в лице двух других министров – Лакона и Икела, которые объединились против него, хотя сами не могли определиться, кого предложить взамен. Они не преминули намекнуть своему господину, что Винтий тесно связан с Отоном; что между Отоном и дочерью консула, которая была вдовой, планировался брак; и что, продвигая Отона, Винтий работал на своего будущего зятя. Тацит полагает, что Гальба даже руководствовался общественным благом и считал, что нет смысла отнимать власть у Нерона, чтобы передать её Отону.

Его выбор подтверждает это предположение. Добродетель склонила его в пользу Пизона Лициниана, в котором, помимо зрелого возраста и знатного происхождения, он видел строгость нравов, доходившую, в глазах любителей удовольствий, до мизантропии. Он был сыном Марка Красса и Скрибонии и был усыновлён неким Пизоном, более ничем не известным. Его отец и мать были казнены Клавдием, как и один из его старших братьев, Помпей Магн. Другой его брат, по-видимому, старший в семье, погиб при Нероне. Сам он был отправлен в изгнание и, вероятно, вернулся в Рим только благодаря перевороту, возведшему Гальбу на трон. Светоний утверждает, что Гальба всегда очень любил Пизона и давно решил сделать его наследником своего имени и состояния. Другие, по словам Тацита, считали, что Пизон обязан своим усыновлением Лакону, который некогда был с ним знаком в доме Рубеллия Плавта, но притворялся, что не знает его, чтобы избежать подозрений в личной заинтересованности. Бесспорно то, что суровый характер Пизона нравился Гальбе столько же, сколько тревожил большинство придворных.

Итак, император, собрав совет, куда, помимо Винтия и Лакона, пригласил назначенного консулом Мария Цельса и префекта города Дукенния Гемина, велел позвать Пизона и, взяв его за руку, произнёс речь, которую Тацит передаёт следующим образом:

«Если бы я, частное лицо, усыновлял тебя, мне, без сомнения, было бы почётно ввести в свой дом потомка Помпея [13] и Красса, и для тебя не меньшей славой было бы приумножить блеск своего рода, соединив его с родами Сульпициев и Катулов. Но моё нынешнее положение, достигнутое по воле богов и людей, придаёт моему усыновлению куда большее значение. Руководствуясь уважением к твоей добродетели и любовью к отечеству, я вырываю тебя из покоя, чтобы предложить тебе верховную власть, ради которой в прежние времена наши предки разжигали столько войн и которую я сам приобрёл оружием. В этом я следую примеру Августа, который сначала обеспечил первое место после себя Марцеллу, своему племяннику, затем Агриппе, своему зятю, потом своим внукам и, наконец, Тиберию, своему пасынку. Но Август

искал преемника в своей семье, а я выбираю его в республике. Не то чтобы у меня не было родственников или друзей, чья помощь была мне полезна в войне. Но не честолюбие и не личная выгода возвели меня на престол; и в доказательство чистоты и прямоты моих намерений я предпочитаю тебя не только своим близким, но даже твоим. У тебя есть брат, который даже старше тебя. Он был бы достоин того положения, которое я тебе предлагаю, если бы ты не был достойнее его. Ты достиг возраста, когда утихают страсти, обычные для юности. Твоя жизнь была такова, что в ней не найдётся ничего, требующего оправдания. До сих пор ты знал лишь невзгоды. Благополучие испытывает сердце куда тоньше, ибо против несчастья мы напрягаем все силы, тогда как соблазны удачи развращают нас. Ты, конечно, сохранишь верность своим принципам, прямоту, дружбу – величайшие блага жизни; но другие своей угодливостью будут стараться ослабить в тебе эти добродетели. Лесть и льстивые речи будут осаждать тебя; личная выгода, этот смертельный враг всякой истинной привязанности, превратит всех, кто тебя окружает, в обманщиков. Сейчас я говорю с тобой откровенно и просто; но придворные в общении с нами видят не нас, а наше положение. Давать князьям добрые советы – тяжкий и часто опасный труд, тогда как лесть не требует никаких душевных усилий.

Если бы огромное тело империи могло держаться в равновесии без управляющей руки, я был бы достаточно благороден, чтобы удостоиться чести восстановить республику. Но уже давно доказана необходимость единовластия. Я не могу сделать римскому народу лучшего дара, чем достойный преемник; и ты исполнишь свой долг перед ним, если будешь править как добрый князь. При Тиберии и последующих императорах мы были как бы наследственным владением одной семьи. Выбор даст нам подобие свободы. И поскольку дом Юлиев и Клавдиев пресёкся, усыновление – способ найти самого достойного. Ибо рождение от принцепса – дело случая и не оставляет места свободному суждению. Напротив, ничто не мешает усыновлению, и, если желают сделать хороший выбор, нужно лишь прислушаться к голосу народа.

Вспомни судьбу Нерона. Этот гордый длинным рядом Цезарей среди своих предков, как был он низвергнут? Не Виникс с его безоружной провинцией и не я с одним легионом разрушили его могущество. Его разврат, его чудовищная жестокость заставили человечество сбросить его ненавистное иго и впервые в истории осудить императора. И мы не должны обольщаться полной безопасностью. Хотя мы возведены на вершину власти войной и выбором, хотя мы правим по самым добродетельным принципам, зависть не оставит нас в покое. Но пусть тебя не пугает, если среди всеобщего смятения ты увидишь, что два легиона ещё не успокоились. Я тоже принял бразды правления в беспокойное время; и как только станет известно об усыновлении, которое обеспечит мне преемника, все забудут мою старость – единственный упрёк, который сейчас считают возможным мне делать. Нерона будут всегда оплакивать порочные; наша задача – сделать так, чтобы даже хорошие люди не жалели о нём.

Время не позволяет мне распространяться в наставлениях; и если мой выбор хорош, всё сказано. Добавлю лишь, что вернейший и кратчайший способ отличить хорошие правила правления от дурных – вспомнить, чего ты сам желал и чего порицал в императорах, при которых жил. Ибо это государство не таково, как прочие, где одна правящая семья держит всю нацию в рабстве. Тебе предстоит править людьми, которые не выносят ни полной свободы, ни полного рабства.»

Так говорил Гальба, словно учреждал наследника империи. Остальные уже преклонялись перед удачей нового Цезаря.

Пизон держался безупречно. При первом взгляде, когда он вошел, и затем в течение довольно долгого времени, пока все взгляды были устремлены на него, никто не заметил ни смущения, ни признаков неумеренной радости. Он отвечал с полным почтением к отцу и императору, с умеренностью касательно самого себя: ни в лице его, ни во всей осанке не было никакой перемены. Он не казался ни взволнованным, ни бесчувственным, и можно было заключить, что он более способен, чем жаждет, занять первое место.

Возник вопрос, где уместнее объявить об усыновлении – перед народом, в собрании сената или в лагере преторианцев. Решили начать с лагеря. Это была почеть, оказываемая солдатам; и полагали, что если подло и опасно снискивать их расположение подарками или слабой снисходительностью, то не следует пренебрегать добрыми способами его приобретения.

Между тем вокруг императорского дворца собралась огромная толпа, волнуемая и удерживаемая жадным любопытством к столь важной тайне; и самые усилия, прилагаемые к тому, чтобы она не просочилась прежде времени, лишь усиливали нетерпение и давали больше хода слухам, которые уже начали распространяться.

Было десятое января; дождь, гром и молнии сделали этот день мрачным даже для этого времени года. С древнейших времен суеверие римлян заставляло их считать гром дурным предзнаменованием для выборов, и в таких случаях собрания распускались. Гальба справедливо презирал эти народные предрассудки и неуклонно продолжал начатое. Но событие опровергло его и укрепило предубеждение.

Он не произнес перед солдатами долгой речи. Сухой по характеру и подчеркивающий краткость, достойную своего сана, он объявил, что усыновляет Пизона, следуя примеру Августа и военному обычаю [14] избирать себе спутника в важных обстоятельствах. Он добавил несколько слов о мятеже в Германии, опасаясь, что его молчание покажется загадочным и даст повод думать о худшем. Он сказал, что четвертый и восемнадцатый легионы, подстрекаемые немногими смутьянами, не зашли далее пустых слов и вскоре вернутся к повиновению.

Гальба не смягчил лаконичной сухости своей речи ни лаской, ни раздачей денег, ни обещаниями. Однако офицеры и солдаты, находившиеся близ трибунала, рукоплескали и выражали внешние знаки удовлетворения. Остальные оставались в угрюмом молчании, возмущенные тем, что в перевороте, совершенном оружием, они лишаются права на подарки, обычные даже в мирное время. Тацит утверждает, что умеренная щедрость, если бы этот государь сумел преодолеть свою строгую бережливость, могла бы привлечь к нему сердца. Он погиб из-за старинной суровости, уже не соответствовавшей духу времени, в котором он жил.

Из лагеря Гальба отправился в сенат, где его речь была не длиннее и не красноречивее. Пизон высказался любезно и скромно. Собрание было к нему благосклонно. Многие искренне одобряли его усыновление; те, кому оно было не по душе, рукоплескали еще усерднее прочих; большинство же, равнодушное и безучастное, интересовалось общественными делами лишь постольку, поскольку они касались их личных выгод, воздавало почести без разбора там, где видело удачу.

Между тем известия из Германии усиливали fears и тревоги в городе. Зло казалось великим – и было таковым. Сенат решил отправить послов из своей среды для усмирения мятежа. В совете принцепса было предложено поставить во главе посольства Пизона, чтобы имя Цезаря, соединенное с авторитетом первого собрания империи, устрало бунтовщиков. Некоторые советовали отправить с Пизоном префекта претория, но это разрушило весь план, так как Лако счел неудобным подвергать себя опасностям такого поручения. Даже сенатское посольство не состоялось. Гальба, которому поручили выбор послов, назначил их, затем принял от некоторых отказ, заменив новыми. Одни предлагали себя, другие отказывались, смотря по тому, двигал ли каждый страх или надежда. И из всех этих перемен вышло поведение, лишенное достоинства и приличия, все более и более подрывавшее доверие к старому императору.

В то же время были смещены два трибуна преторианских когорт, один – городских, другой – караульных. План состоял в том, чтобы устралить остальных примером. Но добились лишь того, что их разозлили. Они убедились, что все под подозрением и что их намерены атаковать и уничтожить одного за другим.

Такое настроение умов весьма благоприятствовало честолюбивым замыслам Оттона, который, взбешенный крушением своих надежд, помышлял лишь о том, чтобы преступлением

добиться того, чего не смог достичь хитростью и интригами. Своим дурным поведением он поставил себя в положение, когда ему оставалось либо погибнуть, либо стать императором: он открыто говорил об этом и, подавленный бременем долгов, которые составляли двести миллионов сестерциев, заявлял, что ему безразлично, падет ли он от вражеских ударов в бою или от преследований кредиторов в суде. Живя в роскоши, разорительной даже для императора, и впад в нищету, невыносимую для самого скромного частного лица, терзаемый яростью мести против Гальбы и завистью к Пизону, он еще и сам придумывал себе опасности и страхи, чтобы еще сильнее разжечь свои желания. Он говорил себе, что был обузой для Нерона и что ему нечего ждать нового изгнания, замаскированного под почетное назначение; что государи неизменно считают подозрительным и ненавидят того, кого общественное мнение прочит им в премники; что это мнение уже повредило ему при почти дряхлом императоре – насколько же больше оно повредит ему при молодом принце, мрачном и злобном по характеру, к тому же ожесточенном долгим изгнанием? Что ему нельзя надеяться ни на что, кроме смерти, и потому он должен действовать и все смело предпринять, пока власть Гальбы поколеблена, а власть Пизона еще не успела утвердиться. Что перемена в правлении – благоприятный момент для великих предприятий, и что осторожность неуместна там, где покой губительнее безрассудства. Наконец, что смерть, неизбежная для всех по общему закону, не оставляет иного различия, кроме забвения потомством или славы; и что если его ждет одна и та же участь, виновный он или невинный, то мужественному человеку подобает заслужить свою судьбу, а не покорно подставлять ей шею.

Эти ужасные мысли поддерживались в Отоне твердым мужеством, ничуть не похожим на изнеженность его нравов. Все окружающие еще больше подстрекали его дерзость. Его вольноотпущенники и рабы, привыкшие жить в таком же разврате, как и их господин, напоминали ему о наслаждениях при дворе Нерона, о роскоши, о распутстве и о всех возможностях, которые дает высшее положение для удовлетворения страстей, лстя ему надеждой насладиться этими благами, если он проявит смелость, и упрекая его в низости за бездействие, из-за которого они достанутся другим. Эти увещевания вполне соответствовали его вкусам; а астрологи, в свою очередь, подкрепляли их. Это были люди, говорит Тацит, которые промышляют обманом знати, питают ложные надежды, которых всегда будут осуждать законы и которых всегда будет держать при себе алчность.

Отон давно начал их консультировать. Эта слабость была у него общей с Поппеей, которая держала на жалованье нескольких астрологов, втайне доверяя этим обманщикам, столь опасным при императрице. Один из них, по имени Птолемей, предсказал Отону, когда тот отправлялся в Испанию, что он переживет Нерона. Это предсказание, сбывшееся, сильно укрепило доверие Отона к астрологу; и Птолемей, став смелее, добавил второе, пообещав ему императорскую власть после Гальбы. Он руководствовался обстоятельствами, слухами, правдоподобными догадками. Но Отон, следуя человеческой склонности верить в необычное и воспринимать туманные, особенно лестные, предсказания как убедительные, полностью уверовал в искусство своего прорицателя и не сомневался, что это его глубокие познания подсказали ему это пророчество. После усыновления Пизона Птолемей не хотел прослыть лжепророком; и поскольку события не складывались сами собой, он решил им помочь и стал советовать самые преступные действия – естественное продолжение тех желаний, которыми Отон себя питал.

Впрочем, неизвестно, следует ли отсчитывать замысел заговора против жизни Гальбы только с этого момента или он возник раньше. Ибо уже давно Отон старался завоевать дружбу солдат. Можно предположить, что, желая любой ценой стать императором, он предпочел бы достичь желаемого законными путями, но был твердо намерен прибегнуть к преступлению, если другие средства окажутся недоступны. В походах, в караулах он узнавал старых солдат, называл их по имени, обращался к ним как к товарищам, будто служил с ними вместе при Нероне; спрашивал о тех, кого не видел; помогал своим влиянием тем, кто в этом нуждался,

давал им деньги, перемежая все эти ласки жалобами на их тяготы, двусмысленными речами о Гальбе и всем, что способно озлобить толпу и подтолкнуть ее к мятежу.

Таким образом, он сам трудился над тем, чтобы поднять солдат, а помощником у него был некий Мевий Пуденс, один из ближайших доверенных лиц Тигеллина. Тот взял на себя детали; и, зная самых буйных, легкомысленных, стесненных нехваткой денег, заботился о том, чтобы свести их между собой и с собой, тайно осыпал их подарками; и наконец дошел до такой дерзости, что всякий раз, когда император ужинал у Отона, он раздавал по сотне сестерциев [15] каждому солдату когорты, стоявшей в карауле, притворяясь, что чтит Гальбу щедростью, которая вела к его гибели. Легко понять, что он действовал так по приказу Отона, который и сам не скрывал своих попыток подкупа: узнав, что один солдат спорит с соседом о границах их полей, он купил все поле соседа и подарил его солдату. А префект Лакон по глупому недосмотру ничего не замечал. Все, что происходило явно, все тайные происки – все это оставалось для него одинаково неизвестным.

Когда Отон решил сбросить маску и напасть на Гальбу, он поручил своему вольноотпущеннику Ономасту руководство преступлением. Невероятно, какими слабыми средствами он располагал для такого важного предприятия. Миллион сестерциев, то есть сто двадцать пять тысяч ливров на наши деньги, которые он недавно вытянул у одного из рабов императора, устроив ему через свое влияние должность, составляли всю его казну; и Ономаст подкупил подарками и обещаниями Барбия Прокула и Ветурия, сержантов [16] гвардии, которые были хитры, смелы и умели воздействовать на умы. Два солдата, говорит Тацит с изумлением [17], предприняли свергнуть императора и поставить на его место другого – и преуспели.

Правда, им оставалось лишь поджечь уже подготовленный материал. Среди преторианцев еще оставались креатуры Нимфидия; некоторые сожалели о Нероне и о той вольнице, в которой они жили при этом императоре; все были возмущены тем, что не получили от Гальбы никаких подарков, и даже боялись, что их статус изменят и переведут из преторианских когорт в легионы, где служба была гораздо тяжелее и менее выгодна. Однако Барбий и Ветурий полностью посвятили в свой план лишь немногих самых решительных. Они ограничились тем, что посеяли среди остальных семена мятежа, которые могли взойти в момент исполнения.

Я уже говорил, что, кроме преторианцев, в Риме в то время находились легионы и отряды легионов, приведенные в город из разных провинций по случаю последних волнений. Зараза зла распространилась и на эти войска после примера, поданного мятежниками из Германии. И все подготовилось так легко и быстро, что на следующий день после ид, четырнадцатого января, заговорщики могли бы похитить и провозгласить Отона по его возвращении с ужина, если бы не боялись трудностей, связанных с темнотой, с опьянением большинства тех, кого предстояло задействовать, и с сложностью согласовать действия солдат разных годов набора, рассеянных по всем кварталам города. Беспорядок, несомненно, был бы еще больше. Но не это соображение волновало негодяев, готовых хладнокровно пролить кровь своего принца. Они опасались, что солдаты провинциальных легионов, в большинстве своем не знавшие Отона, по ошибке примут за него первого встречного. Поэтому дело отложили на следующий день.

Невозможно было вести все эти интриги так тайно, чтобы что-то не просочилось. Гальбе даже доносили об этом, но Лакон помешал ему обратить на это внимание. Этот префект был одновременно неспособен и упрям. Он совершенно не знал солдатского характера; и любой совет, исходивший не от него, каким бы прекрасным он ни был, встречал в нем ревностного противника, который даже сердился на увещевания разумных людей.

Пятнадцатого января, дня, избранного для исполнения заговора, Отон утром, по обыкновению, явился на поклон к Гальбе, который принял его как всегда, обменявшись поцелуем. Затем он присутствовал при жертвоприношении, совершаемом императором, и с великой радостью услышал, как гадатель, исследующий внутренности жертв, предрек Гальбе гнев небес, близкую опасность и врага в собственном доме.

В этот момент его вольноотпущенник Ономаст пришел сообщить, что архитектор и каменщики его ждут. Это был условный знак, означавший, что подготовка к заговору завершена и солдаты начинают собираться. Оттон удалился; на вопрос, почему он уходит, он ответил, что собирается купить старый дом и хочет осмотреть его перед сделкой. Опираясь на руку вольноотпущенника, он дошел до военной колонны, воздвигнутой на публичной площади, где его встретили двадцать три солдата, приветствовавшие его как императора. Он испугался, увидев их столь малочисленными, и, если верить [Плутарху], хотел отступить, отказавшись от предприятия, казавшегося ему слишком плохо организованным. Но солдаты не позволили ему передумать: быстро посадив в носилки, они понесли его в лагерь с обнаженными мечами. По пути к ним присоединилось примерно столько же солдат – частью посвященных в тайну, частью движимых любопытством и изумлением. Одни шли с криками, размахивая мечами, другие молча наблюдали, ожидая исхода. Трибун, охранявший ворота лагеря, то ли смущенный необычностью события, то ли опасаясь, что измена уже проникла внутрь и сопротивление будет бесполезно и опасно, без боя пропустил их. Остальные офицеры, следуя его примеру, предпочли сиюминутную безопасность чести, сопряженной с риском. Так чудовищное преступление было затеяно горсткой негодяев: большее число желало его, все остальные допустили.

Гальба всё ещё был занят жертвоприношением и, по словам [Тацита], «утомлял запоздалыми молитвами богов, уже вставших на сторону его соперника». Разнесся слух, что в лагерь преторианцев ведут сенатора, чье имя сначала не назвали; вскоре стало известно, что это Оттон. Одновременно со всех сторон сбежались те, кто столкнулся с мятежниками: одни преувеличивали опасность, другие смягчали её, не забывая лесть даже в столь критический момент. Созвали совет и решили проверить настроение когорты, стоявшей на страже. Пизон взял на себя эту миссию; Гальбу же оставили как последнюю надежду, если зло потребует больших жертв. Новый Цезарь собрал когорту у ворот императорского дворца и с крыльца обратился к ним:

«Храбрые товарищи! Сегодня шестой день с тех пор, как я, не зная последствий и не ведая, страшиться ли мне титула, приближающего к верховной власти, или желать его, был назван Цезарем. Успех в ваших руках: от вас зависит судьба нашего дома и республики. Но не думайте, что я боюсь лично для себя беды. Я познал невзгоды и ныне убедился, что даже самая блистательная фортуна не избавлена от опасностей. Но скорблю об участи отца, сената и империи, если нам суждено погибнуть сегодня или – что для добродетельных столь же мучительно – купить безопасность ценою чужих жизней. В прошлых смутах нас утешало, что город не обогрился кровью и переворот совершился мирно. Мое усыновление должно было избавить от страха гражданской войны даже после кончины Гальбы. Но дерзкий рушит эти надежды.

Я не стану хвалиться родом или нравами. Перед Оттоном незачем говорить о добродетели. Его пороки, составляющие всю его славу, губили империю, даже когда он был лишь фаворитом императора. Разве достоин верховной власти тот, чья изнеженность, вялая походка и женская роскошь стали притчей? Те, кто принимает его расточительность за щедрость, обманываются. Он умеет тратить, но не дарить. О чём ныне заняты его помыслы? О кутежах, прелюбодеяниях, сборищах бесчестных женщин. Для него это – привилегии власти; для империи – позор. Может ли он мыслить иначе? Никто, достигший власти через преступление, не правил по законам добродетели».

Единодушное желание человечества передало Гальбе власть Цезарей [Césars]: Гальба назначил меня своим преемником с вашего согласия. Если республика, сенат и народ – всего лишь пустые слова, то по крайней мере вам, дорогие соратники, выгодно, чтобы императоров создавали не самые подлые солдаты. Легионы восставали против своих командиров, но до сих пор верность преторианских когорт [cohortes prétoriennes] оставалась безупречной. Нерона покинули не вы – это он покинул вас. Что же! Менее тридцати жалких дезертиров, которым

никогда не позволили бы выбрать даже центуриона или трибуна, назначат императора? Вы одобрите такой пример? Бездействуя, возьмете на себя вину и позор? Эта вольность распространится по провинциям: мы станем первыми жертвами, а беды вызванных ею войн падут на вас. В конце концов, то, что вам сулят за убийство вашего принца, не превышает того, что вы можете получить честно, и за верность мы одарим вас щедростью, которую другие предлагают как плату за гнусное преступление.

Речь Пизона подействовала. Солдаты, к которым он обратился, не были заранее настроены против долга; привыкшие повиноваться приказам Цезарей, они взяли за оружие и развернули знамена. Но их верность, как вскоре выяснится, висела на волоске. Марий Цельс [Marius Celsus], известный в иллирийских легионах, где ранее командовал, был отправлен к отряду этой армии, стоявшему лагерем под портиком Агриппы [portique d'Agrippa]. В другом районе находились ветераны германских легионов, которых Нерон отправил в Александрию, а затем спешно вернул. Их вызвали через старших центурионов; хотя их товарищи уже провозгласили императором Вителлия [Vitellius], эти воины проявили большую верность Гальбе, чем другие войска, из благодарности за его заботу и помощь в восстановлении после долгого плавания.

Однако все военные в Риме поддержали Оттона [Othon]. Морской легион [légion de marine] ненавидел Гальбу за жестокость, проявленную им при въезде в город. Преторианцы отвергли и даже оскорбили трех трибунов, пытавшихся остановить их преступный замысел. Иллирийские солдаты, вместо того чтобы слушать Мария Цельса, направили на него оружие.

Народ казался преданным Гальбе. Толпа заполнила дворец, требуя тысячами криков смерти Оттона и изгнания его сообщников, словно на арене или в театре они выпрашивали новое зрелище. Это была не истинная привязанность или уважение, ведь в тот же день они с тем же пылом станут выражать противоположные чувства: привычка льстить власть имущим, тщеславная показуха, любовь к шуму и треску.

Тем временем Гальба решал: укрыться во дворце или выйти к мятежникам. Винтий [Vinius] советовал первое: вооружить рабов, укрепить подступы и не рисковать. «Дайте злодеям время раскаяться, а добрым – собраться с мыслями, – говорил он. – Преступление спешит, добрые советы крепнут в раздумьях. Если решите выйти, вы всегда успеете, но вернуться, возможно, уже не сможете».

Другие настаивали на скорости, пока заговор не окреп. «Нашей активностью мы смутим Оттона, чьи тайные и поспешные шаги выдают слабость. Он скрылся хитростью, предстал перед толпой, его не знавшей, и использует нашу медлительность, чтобы научиться играть роль императора. Ждать ли, пока он, собрав войска, захватит форум и взойдет на Капитолий на ваших глазах, цезарь, а вы, храбрый император с верными друзьями, заперты за замками, готовясь к осаде? Рабы – плохая опора, если охладить рвение народа, чей первый порыв негодования сильнее всего! Позорный путь – и самый ненадежный. Если суждено погибнуть – встретим опасность лицом. Это вызовет ненависть к Оттону и принесет нам честь».

Так как Винтий решительно возражал против этого мнения, Лакон пришел в ярость и даже угрожал ему. Между ними царил острая ненависть, которую еще больше разжигал вольноотпущенник Ицел, и они упорно преследовали личные вражды в ущерб общественному благу. Гальба, обладавший благородством чувств и мужеством, недолго колебался, выбирая наиболее великодушный путь. Лишь предосторожности ради решили отправить Пизона заранее в преторианский лагерь, чтобы подготовить путь императору. Убеждали себя, что великое имя этого юного принца, недавняя милость усыновления и всеобщее мнение о его ненависти к Винию, которого все презирали, сделают его личность приятной солдатам.

Едва Пизон вышел, как распространилась весть, что Оттон только что убит в лагере. Сначала это был лишь смутный слух; но вскоре, как бывает с важной ложью, нашлись свидетели происшествия, утверждавшие, что присутствовали при нем и видели своими глазами. Простой

народ поверил: одни – потому что это было им приятно, другие – потому что не интересовались достаточно, чтобы проверить. Многие полагали, что эти слухи были посеяны не случайно, а исходили от тайных сторонников Оттона, которые, смешавшись с толпой, намеренно распространили льстивый для Гальбы слух, чтобы выманить его из дворца.

Легковерие не только народа [1], но и множества сенаторов и римских всадников идеально послужило замыслам врагов Гальбы. Избавившись от страха и не считая нужным соблюдать меры, все наперебой предавались аплодисментам и неумеренным проявлениям радости. Ломали преграды дворца, врываются в покои: все желали показаться Гальбе, жалуясь, что честь отомстить за него была отнята у них солдатами. Самые шумные были как раз самыми трусливыми и, как показали события, готовыми отступить при первом признаке опасности: гордые и надменные на словах, храбрые языком; никто из них не имел и не мог иметь достоверных сведений, но все уверяли в факте, так что Гальба, обманутый всеобщим заблуждением, надел доспехи и сел в носилки. В этот момент солдат по имени Юлий Аттик встретил его и, показывая окровавленный меч, хвастался, что убил Оттона. «Товарищ, – сказал Гальба, – кто приказал тебе это?» – слова, достойные государя, стремящегося обуздать военную вольность. Угрозы не могли сломить его, лесть – смягчить.

Положение дел было совсем иным, чем он себе представлял. Весь лагерь признавал Оттона; рвение было так велико, что преторианцы, не довольствуясь защитой его своими телами, поставили его среди знамен на возвышении, где незадолго до того стояла золотая статуя Гальбы. Ни трибун, ни центурион не смели приблизиться: солдаты даже предупреждали остерегаться начальников. Воздух оглашался кликами и взаимными увещаниями; это были не праздные крики бессильной лести, как у городской черни. Каждого прибывавшего солдата другие брали за руку, обнимали с оружием, подводили к Оттону, диктовали слова присяги; то они поручали солдат императору, то императора – солдатам. Оттон со своей стороны играл роль: кланялся, целовал, делал покорные жесты толпе, совершая всяческие низости, чтобы достичь власти. Особенно он истощался в обещаниях, повторяя не раз, что не претендует ни на что, кроме того, что оставят ему солдаты.

Узнав, что морской легион объявил себя за него, он начал верить в свои силы и, вместо того чтобы действовать как подкупщик, ищущий приверженцев, решил вести себя как глава партии, стоящий во главе многочисленного войска. Он созвал собрание солдат и произнес речь: «Дорогие товарищи, я не знаю, как мне здесь именоваться. Мне нельзя называться частным лицом после того, как вы назвали меня императором; ни императором, пока другой владеет империей. Ваше звание также будет неопределенным, пока сомневаются, имеете ли вы в лагере императора или врага римского народа. Слышите ли крики, требующие одновременно моей смерти и вашей казни? Так очевидно, что ваша судьба и моя неразрывно связаны, и мы можем погибнуть или победить только вместе. А Гальба, кроткий и милостивый, возможно, уже обещал то, чего от него требуют. Не стоит удивляться, после примера тысяч невинных, убитых по его приказу без чьих-либо просьб. Я содрогаюсь, вспоминая зловещее вступление Гальбы и варварскую жестокость, с которой он приказал казнить у городских ворот несчастных солдат, доверившихся его слову; единственный подвиг, которым он прославился. Ибо какие иные заслуги принес он империи, кроме убийств Фонтя Капита в Германии, Мацера в Африке, Цингония Варрона на пути, Петрония Турпилиана в городе, Нимфиция в вашем лагере? Какая провинция, какая армия не запятнаны кровью, пролитой насильно, или, как он говорит, не наказаны и исправлены? Ибо то, что у других преступление, он называет лекарством: жестокость для него – спасительная строгость; алчность – мудрая экономия; мучения и обиды, которые вы терпите, – поддержание дисциплины».

Еще прошло всего семь месяцев со смерти Нерона, а уже Икел наградил больше, чем когда-либо Ватиний, Поликлет и Гелий. Винний дал бы меньше простора своей распущенности и алчности, будь он самим императором; но, будучи лишь министром, он угнетал нас

как подданных своей власти, не имея интереса щадить нас, ибо мы принадлежали другому. Одного дома этого человека хватит, чтобы выплатить вам вознаграждение, которое вам никогда не выдают, но ежедневно упрекают им. А чтобы лишить нас всякой надежды даже на преемника, Гальба вызвал из изгнания выдающегося мужа, избранного за наибольшее сходство с собой в мрачности и скупости. Вы видели, дорогие соратники, как боги яростной бурей явили свой гнев против этого несчастного усыновления. Сенат и римский народ чувствуют то же. Ждут, что ваша доблесть подаст сигнал: именно вы – опора всех честных и славных замыслов; без вашей поддержки самые благородные начинания остаются бесплодными.

Речь не идет о войне или опасности для вас. Все войска в Риме соединят оружие с вашим. Лишь одна когорта, которая даже не регулярно вооружена [18], – не защита для Гальбы, а стража, удерживающая его, чтобы выдать нам. Как только эти солдаты увидят вас и я отдам приказ, останется лишь соревнование в рвении ко мне. Поспешим же! Всякая отсрочка вредит делу, которое хвалят лишь после успеха.

Закончив речь, Оттон приказал открыть арсенал. Все схватили первые попавшиеся под руку доспехи без различия преторианцев, легионеров, местных или чужеземных солдат. Ни трибуны, ни центурионы не появлялись. Солдаты сами себе были начальниками, подстегиваемые яростью добрых – сильнейшим стимулом для злых.

В это время Пизон, посланный, как я сказал, Гальбой, приближался к лагерю преторианцев. Услышав шум и мятежные крики, он повернул назад, присоединившись к Гальбе, шедшему на форум. Тем временем Марий Цельс принес дурные вести от иллирийских войск. Гальба оказался в смятении: одни советовали вернуться во дворец, другие – занять Капитолий, многие – взойти на ораторскую трибуну. Большинство лишь отвергали предложения, и, как бывает в советах с печальным исходом, вспоминали прошлое, называя лучшими те решения, которые уже невозможно было исполнить.

Толпа на форуме бросала Гальбу из стороны в сторону, заставляя подчиняться ее движениям. Храмы, базилики – все было заполнено людьми, и все дышало скорбью. В многотысячной толпе не слышалось ни криков, ни слов – лишь испуганные лица, напряженное внимание к малейшему шуму, ни хаоса, ни покоя, а молчание страха и отчаяния.

Отону донесли, что народ берется за оружие, и он приказал окружению спешить, чтобы предотвратить угрозу. Так, пишет Тацит, римские солдаты, словно свергли с трона аршакидов Вологеза или Пакора, а не убивали своего императора – безоружного, слабого, почтенного сединами, – разогнали толпу, растоптали сенат и, опустив копья, ворвались на форум. Ни вид Капитолия, ни святость храмов, ни величие верховной власти не остановили их от преступления, которое неизбежно мстит тому, кто наследует убитому правителю.

Как только вооруженный отряд появился, знаменосец когорты Гальбы сорвал с флага его изображение и швырнул на землю. Этот дерзкий поступок стал сигналом: все солдаты перешли на сторону Оттона. Форум мгновенно опустел, а колеблющихся мятежники принуждали мечами. Гальба остался один. Ветераны из германских легионов, желавшие помочь, опоздали, заблудившись в улицах.

Носильщики Гальбы, охваченные паникой, опрокинули носилки, и он упал у места, называемого Курциевым озером [19]. Его последние слова передают по-разному. Одни утверждают, что он умоляюще спрашивал, в чем его вина, и обещал выплатить солдатам, если дадут срок. Другие – что он подставил горло убийцам, призывая их *strike*, если того требует благо республики.

Убийц не волновали его слова. После удара в горло они продолжили рубить уже мертвое тело, пока солдат, отрубивший голову, не спрятал ее в одежду (волосы отсутствовали). Затем, по совету товарищей, он всунул пальцы в рот и поднял голову на пике.

Винтий [примечание: вероятно, опечатка; далее имя упоминается как «Винтий»] не мог избежать смерти. Лишь незадолго до этого префект Лакон, движимый политическим расчё-

том или ненавистью, задумал убить его, не поставив в известность Гальбу, и был остановлен лишь затруднительностью обстоятельств. Едва избежав этой опасности, о которой он, возможно, даже не знал, Винтий попал в руки сторонников Оттона. Рассказы о его гибели разнятся. Одни утверждают, что страх лишил его дара речи; другие – что он громко кричал, будто Оттон не желает его смерти, что сочли доказательством связи с врагом и убийцей своего господина. Тацит столь низкого о нём мнения, что склонен видеть в нём соучастника заговора, причиной которого он сам стал, дав предлог своими преступлениями. Как бы то ни было, Винтий, пытаясь бежать, сначала получил ранение в подколенное сухожилие, а затем легионер пронзил ему бок копьем насквозь.

Никто не попытался помочь ни Гальбе, ни Винию. Однако Пизон нашёл защитника в лице Семпрония Денса, командира своей охраны. Этот благородный воин, единственный, достойный имени римлянина, – «кого солнце, если воспользоваться выражением Плутарха, увидело в этот день преступлений и ужасов» – обнажил кинжал, бросился навстречу убийцам и, укоряя их в вероломстве, обратил их усилия против себя, то принимая удары, то бросая вызов. Ценой собственной жизни он дал Пизону, хоть и раненому, возможность спастись в храме Весты. Общественный раб принял его там и, движимый состраданием, спрятал в своей каморке. Пизон, укрытый не святостью убежища, а тайным уголком, выиграл несколько мгновений. Вскоре два солдата, специально назначенные убить его, нашли его, вытащили и зарезали у входа в храм.

Головы трёх жертв честолюбия Оттона доставили к нему, и он разглядывал их со странным любопытством. Особенно ненасытно блуждал его взор по лицу Пизона: то ли теперь, свободный от тревог, он наконец предался радости; то ли величие императорского достоинства Гальбы и память о дружбе с Винием тревожили его душу проблесками раскаяния – даже столь закалённого в преступлениях. Но, видя в Пизоне лишь врага и соперника, он без угрызений вкушал удовольствие от избавления от него.

Всякое чувство человечности угасло. Три головы, прикрепленные каждая к концу пики, были выставлены напоказ среди знамен рядом с орлом; те же, кто с правдой или без оснований притязал на участие в этих ужасных казнях, спешили превратить это в постыдную славу, демонстрируя свои окровавленные руки. После смерти Оттона среди его бумаг нашли более шести двадцаток [20] прошений с требованием награды за «подвиги», совершенные в тот роковой день. Вителлий приказал разыскать и казнить всех, чьи имена там значились, не из уважения к Гальбе, но следуя обычаю государей, которые подобными примерами стремились обеспечить себе безопасность или хотя бы месть.

Оттон не преминул покарать префекта Лакона и Икела. Первого он притворно сослал на остров, но велел убить по дороге. С Икелом, будучи он вольноотпущенником, церемониться не стал – тот был публично казнен.

Жестокость Оттона к тем, чьим врагом сделали его честолюбивые замыслы, не простиралась, однако, за пределы их смерти. Он разрешил Верунии, жене Пизона, воздать последние почести мужу, а Криспине, дочери Виния, исполнить тот же долг перед отцом. Обе выкупили у солдат, более алчных, чем жестоких, дорогие им головы и соединили их с телами.

Пизону было всего тридцать один год, когда он погиб, оставив по себе славу более счастливую, чем его судьба. Пережив тяжкие несчастья в семье и лично, он обрел верховную власть через усыновление Гальбой, но потерял ее через четыре дня, ускорив лишь свою гибель. О Винии я сказал достаточно; добавлю лишь, что его завещание осталось неисполненным из-за огромного богатства, тогда как бедность Пизона позволила исполнить его последнюю волю.

Тело Гальбы долго лежало на площади, подвергаясь всевозможным надругательствам, без малейшего участия к нему. Наконец Гельвидий Приск, с позволения Оттона, передал его рабу Гальбы по имени Аргий, который похоронил его скромно в семейных садах. Голова же, долго служившая забавой солдатской челяди, была куплена за сто золотых вольноотпущенни-

ком Патробия, желавшим совершить подлую месть ради успокоения манов своего патрона – вольноотпущенника Нерона, казненного Гальбой. Он издевался над ней у гробницы Патробия, и лишь на следующий день Аргий вернул ее, сжег и смешал пепел с прахом тела.

Так окончил жизнь Гальба, семидесяти трех лет, переживший при пяти императорах постоянный успех, счастливее под чужой властью, чем под собственной. Его род принадлежал к древнейшей знати Рима и владел огромным состоянием. Сам он обладал посредственным умом, скорее свободным от пороков, чем украшенным добродетелями. Хотя он избегал пороков, вредящих обществу, личные его недостатки позорят память о нем. Не чуждый славы, он не кичился ею. Чужое добро его не прельщало, свое берег, а казну расхищал. Друзья и вольноотпущенники управляли им. Если они были честны, его доверчивость не вредила репутации; если порочны – доводила его до презрения. Знатность рождения и трудности эпохи скрывали его слабости, выдавая слабоумие за мудрость. Он достойно исполнял должности, и все считали его выше частного лица, пока он им был; все признали бы его достойным власти, если б он не стал императором.

Отмечу, что Гальба – последний из императоров, принадлежавший к древней знати. Все его преемники были людьми новыми, чьи предки не значились в летописях республики. Четыре императора подряд за шестьдесят лет истребили знатные роды. Немногие уцелевшие скрывали опасный блеск происхождения в безвестности жизни.

Примечания:

[1] ТАЦИТ, «Истории», I, 4.

[2] ТАЦИТ, «Истории», I, 6.

[3] ТАЦИТ, «Истории», I, 48.

[4] ТАЦИТ, «Истории», I, 6.

[5] Я использую наш язык для ясности. В тексте стоит *foenus* – деньги, отданные под проценты.

[6] ТАЦИТ, «Истории», I, 7.

[7] ТАЦИТ, «Истории», I, 7.

[8] Сто двадцать пять тысяч ливров.

[9] Семьдесят пять тысяч ливров.

[10] ТАЦИТ, «Истории», I, 7.

[11] ТАЦИТ, «Истории», I, 8.

[12] ТАЦИТ, «Истории», I, 10.

[13] Вероятно, через свою мать Скрибонию Пизон происходил от Помпея, чье имя взял один из его братьев, женившийся на Антонии, дочери Клавдия, назвавшись Гн. Помпеем Магном. Генеологию этого рода см. в примечаниях Рийкиуса к Тациту: «Истории», I, 14 и «Анналы», II, 27.

[14] Примеры такой практики нередки в римской истории. Один из них встречается у самнитов (см. «Историю Римской республики»).

[15] Двенадцать ливров десять су = 20 франков 45 сантимов, по данным г-на Летронна.

[16] Я адаптирую на современный лад звания *optio* и *tesserarius*, для которых сложно найти точные аналоги в нашей армии.

[17] ТАЦИТ, «Истории», I, 26.

[18] Римские солдаты облачались в полное вооружение только для боя. На страже они носили лишь меч и копье, а одеждой служила тога (у Тацита: *una cohors togata*). Даже в лагере доспехи не надевались полностью, что видно из приказа Оттона после речи открыть арсенал для вооружения солдат.

[19] О происхождении этого названия см. «Римскую историю» г-на Роллена.

[20] Сто двадцать.

§ II. Оттон

Никогда лучше не проявлялось, чем в момент смерти Гальбы, как мало стоит доверять заверениям в преданности со стороны толпы, всегда готовой подчиниться сильнейшему. Перемена была столь внезапной и полной, что, как говорит Тацит [1], можно было подумать, будто перед нами другой сенат и другой римский народ. Все спешили в лагерь; каждый старался опередить других: они громко порицали Гальбу, хвалили решение солдат, целовали руку Оттона. Чем притворнее были эти проявления, тем усерднее они старались прикрыть ложь видимостью искреннего рвения. Оттон, со своей стороны, не отвергал никого из явившихся: жестами и словами он успокаивал разгневанных и угрожающих солдат, проявляя мягкость, возможно, столь же лживую, как и те почести, что ему воздавали.

В этот момент он спас от большой опасности Мария Цельса, назначенного консула, который до последнего оставался верен Гальбе. Разъяренные солдаты громко требовали его казни, ненавидя в нем талант и добродетель так, как обычно ненавидят порок. Помимо чудовищной несправедливости такого поступка, это создавало ужасный прецедент, открывая путь к убийству лучших людей и, возможно, к разграблению города. Оттон еще не обладал достаточной властью, чтобы предотвратить преступление, но уже мог приказывать. Он велел заковать Мариа в цепи – якобы для того, чтобы подвергнуть его более тяжким мукам, – и этой хитростью спас его от неминуемой смерти.

Каприз солдат решал всё. Они сами назначили префектами Плотия Фирма и Лициния Прокула. Плотий, бывший простым солдатом, а затем ставший начальником городской стражи, одним из первых поддержал нового императора. Прокул был тесно связан с Оттоном и считался его верным помощником в осуществлении замыслов. Солдаты также избрали префектом города Флавия Сабина, занимавшего эту должность при Нероне. Многие поддержали его из-за уважения к его брату Веспасиану, который в то время воевал в Иудее.

После всех преступлений, совершенных в этот роковой день, верхом бедствий стала радость, которой он завершился. Претор города, ставший главой сената после смерти двух консулов, созвал собрание, и лесь разлилась без меры. Магистраты и сенаторы, поспешно явившиеся, даровали Оттону трибунскую власть, имя Августа и все титулы верховной власти, наперебой стараясь чрезмерными похвалами стереть оскорбительные упреки, которыми они осыпали его незадолго до этого. Их расчет был вознагражден. Никто не заметил, чтобы Оттон-император сохранил resentment за обиды, нанесенные ему как частному лицу. Было ли это забвением с его стороны или лишь отсрочкой мести – краткость его правления не позволила выяснить. Оттон, признанный народом и сенатом, вышел из лагеря, явился на форум, еще залитый кровью, и, пройдя среди трупов, поднялся на Капитолий, а затем направился во дворец.

Не нужно и говорить, что, пока ему рукоплескали открыто, в душе его боялись и ненавидели. И так как известия о восстании Вителлия, скрываемые при жизни Гальбы, теперь стали распространяться свободно, не было гражданина, который не скорбел бы о печальной участи республики, обреченной стать добычей одного из двух недостойных соперников. Не только сенаторы и всадники, по положению своему более вовлеченные в государственные дела, но и простой народ открыто сетовал, видя, что два человека, наиболее достойные ненависти и презрения за свои гнусные пороки, трусость и изнеженность, возведены на престол, словно злой рок специально избрал их, чтобы погубить империю. Вспоминали не недавние примеры жестокости правителей к отдельным лицам в мирное время, а общие бедствия гражданских войн: Рим, не раз захватываемый собственными гражданами, разорение Италии, опустошенные провинции, Филиппы, Фарсал, Перузию и Модену – места, прославленные кровавыми битвами римлян против римлян. «Вселенная, – говорили они, – была близка к гибели даже тогда, когда высшая власть оспаривалась достойными соперниками. В конце концов

империя устояла при Цезаре и Августе: республика сохранилась бы, победы Помпей или Брут [2]. Но теперь за кого нам молиться? За Вителлия или за Отона? В любом случае молитвы будут кощунственны. Как выбрать между двумя, чья война может завершиться лишь доказательством превосходства порока в победителе?» Некоторые возлагали надежды на Веспасиана. Но это была далекая перспектива, и даже если бы она осуществилась, никто не был уверен, что Веспасиан окажется таким хорошим правителем, каким он впоследствии проявил себя.

Между тем поведение Отона обмануло ожидания всех. Он не предавался бездействию или наслаждениям: занимался делами, проявлял активность, поддерживал достоинство своего положения трудом и заботами, достойными императора. Правда, этому изменению не доверяли. Считали, что он лишь временно отрекся от удовольствий, скрывая свои склонности, и боялись, что ложные добродетели вскоре уступят место присущим ему порокам.

Он знал, что ничто не могло принести ему больше чести, чем мягкость и милосердие, и весьма разумно воспользовался этим в отношении Мария Цельса. Спасши его, как я уже упоминал, от ярости солдат, он вызвал его на Капитолий. Цельс с достоинством признал свою «вину» – неизменную верность Гальбе – и превратил это в заслугу перед Отоном, который мог теперь надеяться на подобную преданность с его стороны. Отон не стал говорить как оскорбленный властитель, милостиво прощающий провинившегося: он немедленно включил Цельса в круг своих друзей, а вскоре назначил его одним из военачальников в войне против Вителлия. Цельс остался верен Отону, словно его судьбой было – всегда хранить верность и всегда быть несчастным. Благородство поступка Отона в отношении Цельса произвело огромное впечатление. Знать города была восхищена, народ прославлял его в похвалах, а сами солдаты, остыв от первоначального порыва, невольно восхищались добродетелью, которую не могли полюбить.

Общественная радость едва ли была меньше при известии о смерти Тигеллина. Мы видели, какую ярость питал народ к этому гнусному и отвратительному министру Нерона. Ненависть, которую он столь справедливо заслужил своими деяниями, усиленная еще той, что навлекла на него защита Виния при Гальбе, возродилась с приходом к власти Отона. Крики, требовавшие его смерти, звучали на площадях, в цирках, в театрах, и новый принцепс с радостью снискал расположение толпы, пожертвовав ей негодяя, достойного величайших казней. Он послал therefore приказ о смерти Тигеллину, удалившемуся в окрестности Синуэссы, где тот, в предосторожности, держал корабли наготове для бегства морем в случае немилости. Приказ опередил его: вынужденный подчиниться, среди толпы наложниц, никогда его не покидавших, он перерезал горло бритвой.

Народ требовал также смерти Гальвии Криспиниллы – женщины коварной и дерзкой, управлявшей позорным Споратом при Нероне, позднее ставшей сообщницей мятежа Клодия Макра в Африке и подстрекательницей плана уморить Рим голодом. Но Криспинилла нашла больше защиты, чем Тигеллин. Спорат ходатайствовал за нее перед Отоном. Кроме того, огромные богатства, накопленные этой женщиной через тысячи вымогательств, позволили ей заключить почтенный брак с лицом консульского звания. Отон, слишком увлеченный этими соображениями, под разными предлогами уклонялся от народных требований и прибегал к уловкам, проявляя неуместную снисходительность, которая не делала ему чести. Таким образом, Гальвия Криспинилла избежала народной ненависти при правлении Отона и Вителлия; а при Веспасиане она даже достигла большого влияния в городе, ибо была богата и бездетна [I], находясь, как говорит Тацит, в положении, которое приносит уважение как при добрых, так и при дурных правителях.

Было обычаем, как я уже не раз отмечал, что новые императоры принимали консулат. Так, вместо Гальбы и Виния, Отон назначил консулом себя и своего брата Сальвия Титаниана, уже бывшего консулом при Клавдии. Они должны были оставаться в должности до первого мая. В распределении консулатских мест на остаток года Отон проявил большую умеренность. Он сохранил позиции тем, кто был назначен Нероном и Гальбой, среди которых наиболее

достойными упоминания являются Марий Цельс, о котором мы уже достаточно рассказали, и Аррий Антонин, по-видимому, бывший дедом по материнской линии императора Антонина Пия. Политическая расчетливость побудила Оттона даровать консулатский титул Виргинию Руфу. Этим он хотел завоевать расположение германских легионов, сохранявших почтение к этому великому человеку, и заманить их на свою сторону, если бы это оказалось возможным.

Его заслугой сочли заботу о возвышении до званий авгурув и понтификов пожилых достойных мужей, которым не хватало лишь этих титулов для достижения вершины почестей; не меньше хвалили его благосклонность к молодой знати, многие из которой, недавно вернувшись из изгнания, получили от него жреческие должности, ранее принадлежавшие их семьям.

Среди похвальных деяний Оттона я упомяну оказанную им милость солдатам, но с рассудительностью и мудростью, в первые же моменты после смерти Гальбы. Они жаловались на своего рода подать, которую обязаны были платить центурионам за освобождение от некоторых военных работ. Это был обычай, или скорее злоупотребление, порождавший множество проблем для дисциплины. Оттон, признавший справедливость жалоб солдат и не желавший отратить центурионов, лишив их дохода, считавшегося частью их должности, нашел компромисс и объявил, что будет выплачивать из императорской казны то, что до сих пор взималось солдатами с их командиров. Это стало полезным установлением, принятым в постоянную практику его преемниками.

К этим чертам, заслужившим Оттону общественное одобрение, добавились другие, требовавшие оправдания необходимостью обстоятельств. Трое сенаторов, осужденных при Клавдии или Нероне за вымогательство, были восстановлены в своем достоинстве. То, что являлось наказанием за несправедливую и тираническую алчность, представили как преследование за мнимые оскорбления величества – ненавистное имя, чья несправедливость, справедливо презираемая, уничтожала даже спасительные законы.

Тацит также порицает щедроты и привилегии, расточаемые народам и городам: колонии в Севилье и Мериде, пополненные новыми семьями; владения в Бетике, расширенные за счет городов и территорий в Мавретании; право римского гражданства, дарованное жителям Лангра. Оттон был склонен к раздаче милостей и стремился повсюду создавать себе сторонников.

Но совершенно непростительными были его возвраты к нежности к Поппее и проявления почтения к памяти Нерона. Он восстановил сенатусконсультом статуи Поппеи, которой наибольшим благом было бы быть забытой. Он также допустил, чтобы частные лица воздвигали статуи Нерона, выставляли его портреты; вернул на места управителей и вольноотпущенников, служивших этому принцепсу; первым распоряжением по императорской казне, которое он подписал, стало выделение пятидесяти миллионов сестерциев [3] на завершение Золотого дворца. Он не отвергал кликов подлой черни, приветствовавшей его именами «Нерон Оттон»; и утверждают, что он сам добавлял имя Нерона к своему в письмах к некоторым наместникам провинций. Однако, заметив, что первые и лучшие люди города возмущены этими рискованными попытками возродить память столь ненавистного тирана, он проявил достаточно благоразумия, чтобы отказаться от них и воздерживаться впредь.

Начало правления Оттона было ознаменовано победой над сарматами-роксоланами. Что может особенно заинтересовать нас в этом событии, самом по себе не столь значительном, так это описание Тацитом способа ведения боя сарматов. «Весьма примечательно, – говорит этот историк [4], – что вся сила и мощь этих народов как бы находится вне их самих. Пешие, они кажутся слабыми и робкими; но в конных отрядах их едва можно выдержать. Их оружие – копье и длинный меч, который они держат двумя руками; щитов у них нет. Знатнейшие носят тяжелые доспехи, делающие их неуязвимыми для стрел, но неспособными подняться, если их сбросят с коня».

Отряд сарматов-роксоланов, состоявший из девяти тысяч всадников, воспользовался слабой охраной границы Мезии (все внимание было обращено на подготовку к гражданской

войне) и вторгся зимой, захватив богатую добычу. Третий легион с обычными вспомогательными подразделениями выступил против них и легко одержал победу благодаря оттепели, превратившей равнину в болото. Лошади сарматов увязали в грязи, делая их беспомощными, и римлянам оставалось лишь добивать врагов. Оттон возвеличил эту победу: наместник Мезии Марк Апоний получил триумфальную статую, а его легаты – консульские отличия. Он стремился прослыть удачливым правителем, под чьим началом римское оружие вновь обретает славу.

Нельзя отрицать, что Оттон сумел завоевать любовь солдат. Их преданность граничила с фанатизмом, что едва не привело к катастрофе.

Оттон приказал перевести из Остии в Рим одну из когорт, поручив трибуну преторианцев Криспину вооружить ее. Тот решил действовать ночью, чтобы избежать волнений, и приказал погрузить оружие на повозки. Однако солдаты, уже подвыпившие, заподозрили неладное. Увидев оружие, они взбунтовались, обвинив командиров в заговоре с целью вооружить сенаторских рабов против Оттона. Слух мгновенно распространился: одни, пьяные, не понимали, что творят; другие жаждали грабежа; большинство же просто рвалось к мятежу. Добросовестные солдаты остались в лагере. Трибун и центурионы, попытавшиеся усмирить бунтовщиков, были убиты. Вооружившись, мятежники ворвались в Рим, направляясь ко дворцу.

Оттон в тот момент устраивал пир для восьмидесяти гостей – магистратов, сенаторов и их жен. Паника была всеобщей: гости не знали, то ли солдаты взбунтовались, то ли сам император замыслил предательство. Оттон, видя опасность для сената, отправил префектов претория успокоить толпу, а гостям велел бежать. Те разбежались кто куда: сбрасывая знаки отличия, прячась в темноте, ища убежища у друзей или клиентов.

Мятежники прорвались во дворец, ранив центуриона и трибуна, и ворвались в пиршественный зал, требуя выдачи Оттона. Их угрозы обрушились на командиров и весь сенат. Император, против достоинства своего сана, умолял их со слезами, едва утихомирив толпу. Солдаты вернулись в лагерь недовольные, но уже осознавшие свою вину.

На следующий день город напоминал захваченный врагом: закрытые дома, пустые улицы, перепуганные лица. Солдаты делали вид, что раскаиваются, но в глазах их читалась злоба. Префекты претория, опасаясь нового бунта, разговаривали с ними то строго, то мягко, а затем каждому выдали по пять тысяч сестерциев [5]. После этого Оттон осмелился явиться в лагерь. Трибуны и центурионы, сняв знаки отличия, умоляли о пощаде. Солдаты, почуяв ненависть к себе, притворились смиренными и даже потребовали наказать зачинщиков.

Оттон разрывался между разными мыслями. Он понимал, что часть солдат жаждет порядка, но большинство любит мятежи и грабежи, видя в них путь к гражданской войне. Осознавая, что его власть основана на преступлении, он не мог править с традиционной строгостью. Однако опасность для Рима и сената глубоко тревожила его. Наконец, он обратился к войскам:

«Дорогие мои соратники! Я пришел не вдохновлять вашу храбрость или преданность – их у вас с избытком. Я прошу лишь умеренности. Обычно мятежи рождаются из жадности, ненависти или страха. Но ваш недавний бунт вызван чрезмерной любовью ко мне и рвением, заглушившим голос разума. Даже благие порывы, без мудрости, ведут к беде».

Мы отправляемся на войну. Неужели все приказы должны оглашаться в присутствии армии, все советы – происходить публично? Подобная практика разве способствует благу дел или быстроте действий, когда возможности улечучиваются в мгновение? Есть вещи, о которых солдат должен не знать, как есть и те, что он обязан понимать. Авторитет командиров, строгость дисциплины требуют, чтобы даже офицеры порой не знали мотивов получаемых приказов. Если после отданного приказа каждому позволено рассуждать и задавать вопросы, исчезает подчинение, а с ним – и права верховного командования. Разве допустимо, когда мы на войне, позволять братья за оружие среди ночи: один или два негодяя – ибо не верю,

что мятежников больше – , один или два безумца, чья ярость усилена хмелем, обогрют руки кровью офицеров, ворвутся в шатер императора? Правда, вы сделали это из любви ко мне. Но в смятении, во тьме, в общей неразберихе злоумышленники могут обратиться даже против меня. Каких иных чувств, каких иных намерений пожелал бы нам Вителлий со своими приспешниками, будь это в его власти? Разве не радовался бы он раздорам и смуте среди нас; тому, что солдаты не слушают центурионов, центурионы – трибунов, дабы мы, смешавшись в беспорядке, конница и пехота, без правил, без дисциплины, устремились к верной гибели? Дорогие товарищи, армия держится на послушании, а не на праздном любопытстве, подвергающем приказы генералов сомнению. Самая сдержанная и покорная перед битвой армия всегда оказывается самой храброй в самой битве. Ваш удел – оружие и отвага; позвольте мне совет и заботу управлять вашей доблестью. Виновны немногие, наказаны будут двое: пусть все остальные изгонят из памяти ужасы этой преступной ночи; и да не повторяются никогда в любой армии эти дерзкие крики против сената. Требовать истребления собрания, которое управляет империей, вмещает цвет и элиту всех провинций – нет, этого не посмели бы даже германцы, которых Вителлий ныне вооружает против нас. Неужели дети Италии, истинно римская молодежь, вспыхнут кровавой яростью против этого *augusto* собрания, чья слава дарует нам превосходство над низменной подлостью партии Вителлия? Вителлий имеет за собой варварские племена: его сопровождает войско, лишь напоминающее армию. Но сенат – с нами; и это отличие ставит республику на нашу сторону, а наших противников – в ряды врагов отечества. Что же! Вы думаете, великий и гордый Рим – это дома, здания, груды камней? Эти немые и безжизненные объекты могут разрушаться и возрождаться без последствий. Сенат – его душа, и от его сохранности зависит вечность империи, мир вселенной, ваше и мое спасение. Это собрание учреждено под водительством божественных знамений отцом-основателем города: оно существовало от царей до императоров, всегда цветущее и бессмертное; мы должны передать его величие потомкам таким, каким получили от предков. Ибо как из вашей среды рождаются сенаторы, так из сената выходят принцепсы.

Эта речь, смесь строгости и снисхождения, умелая в порицании и лести солдат, была встречена с восторгом и аплодисментами. Их также обрадовало, что Оттон ограничился казнью двух самых виновных, к которым никто не питал сочувствия: и хотя непокорность мятежников не исчезла, она утихла на время.

Однако город не обрел покоя. Приготовления к войне поддерживали смятение; и хотя солдаты не покушались открыто на общественный порядок, они проникали в дома как шпионы, переодетые горожанами, подслушивая речи тех, чье знатное происхождение, ранг или богатство делали их подозрительными. Многие верили, что в город пробрались сторонники Вителлия, тайно выведывавшие настроения. Все было пропитано недоверием, и граждане едва чувствовали себя в безопасности даже дома. На публике тревога росла: с каждым известием – ведь армия Вителлия давно двигалась и приближалась к Италии – люди напрягались, контролировали выражение лиц, боясь показать либо излишний страх при плохих новостях, либо недостаток радости при успехах. Особенно сенаторы на собраниях не знали, как выражать мнения, чтобы не навлечь подозрений. Молчание могли счесть недовольством, откровенность – изменой. А Оттон, новый император, недавний простолюдин, разбирался в лести. Поэтому сенаторы изъяснялись туманно, называя Вителлия врагом и предателем, осыпая его общими оскорблениями, избегая конкретики; лишь в моменты шума некоторые позволяли себе четкие обвинения, но кричали их громко и невнятно, чтобы расслышать можно было лишь половину.

Тревогу усугубили мнимые знамения, которые, как пишет Тацит, в грубые века замечали даже в мирное время, но ныне им не верят, разве что страх перед опасностью придает им вес. Настоящим бедствием стало внезапное наводнение Тибра. Вода прибыла с такой яростью, что снесла деревянный мост, разрушила набережные и затопила не только низкие районы, но и те, что обычно не страдали от паводков. Люди не успели спастись: многих унесло течением на ули-

цах, еще больше – застигнуто в лавках и постелях. Погибло много зерна на затопленном рынке, что привело к голоду и безработице ремесленников. Вода, застоявшись, подмыла фундаменты зданий, которые рухнули после ее отступления. Суеверные умы увидели в этом дурное предзнаменование для Отона, готовившегося выступить против Вителлия: разлив перекрыл Марсово поле и Фламиниеву дорогу, лежавшие на его пути.

Отъезд Отона побуждает меня описать врага, с которым он сражался, и подробно изложить возвышение Вителлия до императора, а также события, приведшие его войска в Италию.

Если бы род императора Вителлия был столь же древен, как его имя в истории, его можно было бы причислить к знатнейшим семьям Рима. Ибо уже в год изгнания царей [6] известны два брата Вителлия, правда, не самые достойные – они были казнены как сообщники Тарквиниев, – но занимавшие высокое положение, будучи племянниками Коллатина и зятьями Брута. Удивляюсь, что те, кто, по словам Светония, пытался возвеличить происхождение этого дома, не воспользовались столь ярким и достоверным фактом, предпочтя мифы. Разве лишь потому, что родство с предателями и врагами отечества сочли позорным. Как бы то ни было, достоверная генеалогия императора Вителлия восходит лишь к его деду, П. Вителлию, римскому всаднику, управляющему Августа, отцу четырех сыновей. Двое из них прославились: П. Вителлий, друг и мститель за Германика, и Л. Вителлий, трижды консул и цензор, более известный низкопочтением, чем заслугами. Последний имел двух сыновей: А. Вителлия, о котором пойдет речь, и Л. Вителлия, ставшего консулом в один год со старшим братом, как уже упоминалось.

А. Вителлий, один из самых недостойных подданных, опозоривших императорское величие, родился седьмого или, по другим данным, двадцать четвертого сентября второго года правления Тиберия. Последние годы детства и первые юности он провел на Капри – месте, чье название предвещало поведение, которое он там демонстрировал; и считалось, что милости Тиберия к его отцу – консулат и управление Сирией – были куплены ценой его бесчестия. Вся его жизнь соответствовала столь позорному началу: наиболее яркими чертами его характера были разврат всех видов и обжорство, доходившее до привычки вызывать рвоту, чтобы вновь испытать удовольствие от еды. Его имя открывало ему доступ ко двору; он понравился Калигуле как искусный возничий, а Клавдию – страстью к азартным играм. Эти же качества сделали его приятным Нерону; но особенно благосклонность последнего он заслужил услугой особого рода, вполне соответствовавшей вкусам принцепса. Нерон страстно желал выступить на сцене как музыкант, но остаток стыда удерживал его. Поддавшись настойчивым крикам народа, умолявшего его спеть, он даже покинул зрелище, словно пытаясь избежать назойливых просьб. Однако он вовсе не хотел, чтобы его приняли всерьез. Вителлий, руководивший играми, где разыгралась эта сцена, стал посредником зрителей, умолявших Нерона вернуться и уступить их мольбам. Нерон остался чрезвычайно доволен этой мягкой насильственной уловкой. Так Вителлий, последовательно любимый и обласканный тремя принцепсами, прошел путь магистратур, удостоился даже самых почетных жреческих должностей, сочетая все достоинства со всеми пороками.

Одного порока, однако, ему не доставало – алчности к грабежу. Африка не имела повода жаловаться на его притеснения за два года пребывания у власти – сначала как проконсула, затем как легата при брате. Но нищета, в которую его ввергли расточительность, наконец породила несправедливость: получив обязанность надзора за общественными зданиями, он заподозрили в краже храмовых даров и украшений, подменяя серебро оловом, а золото – позолоченной медью.

Однажды допущенная в его душу алчность довела его до жестокости против собственной крови. От первой жены, Петронии, с которой он развелся, у него был сын. Она, выйдя за Долабеллу, вскоре умерла, назначив сына наследником при условии, что отец, чью расточительность она знала, освободит его от своей власти [7]. Этой предосторожностью она хотела сохранить имущество сына, но навлекла на него гибель. Вителлий эмансипировал сына, но,

вероятно, заставив его составить завещание в свою пользу, отравил его, распусшив слух, что юноша покушался на его жизнь и, в ярости и стыде от разоблачения, сам принял яд, приготовленный для отцеубийства.

Презрение, которое Гальба питал к Вителлию, стало, как я упоминал, причиной, побудившей императора доверить ему важный пост командующего легионами Нижней Германии. Когда пришло время отправляться, у него не было средств на дорогу; чтобы раздобыть деньги, он заложил бриллиантовую серьгу своей матери Секстилии, женщины высоких достоинств. Кроме того, он сдал свой дом, выселив жену Галлерию и детей в чердачное помещение. Кредиторы, особенно жители Синуэссы и Формий, чьи общественные средства он присвоил, воспрепятствовали его отъезду, арестовав его имущество. Он вышел из затруднения высокомерием и насилием. Вольноотпущенник, которому он был должен, оказался настойчивее прочих; Вителлий возбудил против него уголовное дело, утверждая, что тот ударил его, и несчастный кредитор заплатил пятьдесят тысяч сестерциев [8], чтобы прекратить преследование. Этот пример запугал остальных, и Вителлий отправился. Он прибыл в лагерь около первого декабря года, предшествовавшего смерти Гальбы, и застал легионы в сильнейшем брожении, ждавшем лишь повода для открытого мятежа.

Эта армия гордилась победой над Виндексом. Слава и богатая добыча, добытые без труда и риска, подстрекали ее предпочесть опасности войны покою, надежду на награды – монотонной службе. Эти мотивы действовали тем сильнее, что солдаты долго несли тяготы неблагоприятной службы в почти дикой стране под строгой дисциплиной, железной в мирное время, но ослабевавшей в гражданских распрях, дававших возможность менять сторону безнаказанно. Германские легионы составляли мощную силу. Но до последнего похода каждый солдат знал лишь свою когорту; легионы стояли раздельно, две армии оставались в пределах разных провинций. Собравшись против Виндекса, они испытали свои силы и слабость галлов; воодушевленные успехом, они жаждали новой войны и смут, видя в галлах уже не союзников, а побежденных врагов.

Народы Галлии по Рейну питали эту вражду; связанные с легионами общими интересами и чувствами, они подстрекали их против «сторонников Гальбы» – так они дерзко именовали участников лиги Виндекса. По их наущению солдаты, озлобленные против секванов, эдуев и других богатейших народов Галлии, мерили ненависть по богатству *hopedanной* добычи, мечта о захвате городов, разорении земель, грабеже золота и серебра. Их алчность и высокомерие – обычные пороки сильнейших – разжигались гордостью галлов, которые издевались над армией, хвастаясь привилегиями и наградами от Гальбы.

К этим причинам смуты добавлялись зловещие слухи, распространяемые смутьянами, которым солдаты слепо верили. Говорили, что Гальба готовит децимацию легионов, увольнение храбрейших центурионов. Со всех сторон приходили дурные вести; из Рима доходило лишь то, что внушало отвращение и презрение к Гальбе. Эти впечатления, проходя через Лугдун – город, враждебный текущей власти из-за упорной верности Нерону, – искажались и отравлялись. Но самый обильный источник смутных, неосторожных, мятежных речей исходил из самой армии, волнуемой попеременной ненавистью, страхом и – при взгляде на свои силы – самоуверенной надменностью.

Вителлий. В том настроении, в каком находились умы, полководец со знаменитым именем, рожденный от отца, трижды консула [1], достигший возраста, когда сила еще поддерживается и сопровождается зрелостью, ко всему этому – покладистый и расточительный, был воспринят как дар, ниспосланный с небес. Не замечали или даже превращали в похвалу низкие черты, которыми были полны все его поступки и которые он особенно проявлял в пути: ибо не было солдата, которого он не целовал бы в обе щеки; на постоянных дворах он непристойно сближался с слугами и конюхами; каждое утро не забывал спросить их, завтракали ли они, и из собственного желудка извлекал доказательство, что сам он не был голоден.

Однако следует признать, что в его поведении по прибытии в армию было нечто достойное похвалы. Он тщательно осмотрел зимние квартиры легионов. Мягкая и льстивая снисходительность не была единственной причиной, побудившей его стереть позорные записи, восстановить в чинах офицеров, лишенных их. Иногда он обращался и к справедливости, и к разуму. Особенно он возвысился, отстранившись от постыдной алчности своего предшественника Фонтея Капита, который продавал должности и взвешивал достоинство и недостойность кандидатов на весах их денег.

Заслуга такого поведения была оценена гораздо выше ее истинной цены. По мнению толпы, это была заслуга императора, а не простого консуляра. Беспристрастные судьи нашли бы Вителлия мелким и низким; предубежденные солдаты называли в нем добротой и щедростью то, что было чрезмерной легкостью раздавать без меры, без разбора не только свое, но часто и чужое; его пороки считались добродетелями. В обеих армиях, конечно, были добропорядочные люди и любители спокойствия; но число тех, в ком проявлялась пагубная активность, значительно превосходило. Среди всех выделялись безудержной алчностью и дерзостью, способной на все, Аллиен Цецина и Фабий Валент, командиры легионов – один в армии Верхнего Рейна под началом Гордеония Флакка, другой в армии Нижней Германии под командованием Вителлия.

Валент был старым офицером, который сначала пытался заслужить расположение Гальбы, давая ему тайные советы против Вергиния [2] и стараясь убедить, что избавил его от опасного врага смертью Фонтея Капита. Но, не получив за мнимые услуги ожидаемой награды, он обвинил Гальбу в неблагодарности, и его ложное рвение превратилось в ярую ненависть. Он подстрекал Вителлия стремиться к высшей власти. «Ваше имя, – говорил он, – знаменито во всей империи; солдаты полны рвения за вас; Гордеоний Флакк слишком слаб, чтобы остановить вас; Британия присоединится к нам; германские вспомогательные войска последуют за остальными легионами; привязанность провинций к нынешнему правительству висит на волоске; на троне Цезарей сидит старик, чья власть шатка и чей конец близок; раскройте объятия удаче, которая сама спешит к вам». Нерешительность Вергиния [3] была обоснована. Сын простого всадника, скромность происхождения ставила его ниже императорской власти, если бы он принял ее, и защищала от опасности, если бы отказался. С вами не так. Три консульства вашего отца, управляемая им цензура [4], честь быть коллегой Клавдия [5] – вот титулы, зовущие вас к верховной власти и лишаящие безопасности частного положения. Эти горячие увещевания слегка встряхнули лень Вителлия. Он еще не смел надеяться, но начинал желать. Ибо до сих пор ничто не было дальше от его мыслей. Дион [6] сообщает, что астрологи, некогда предсказавшие ему империю, были осмеяны им, и он приводил это предсказание как доказательство их невежества или лживости.

Цецина в армии Верхней Германии был не менее пылок, чем Валент, и по схожим причинам. Будучи квестором в Бетике во время переворота, вознесшего Гальбу к власти, он показал себя одним из самых рьяных сторонников нового порядка, и его усердие было вознаграждено должностью командира легиона. Но там он плохо себя проявил и был уличен в присвоении государственных денег. Гальба, непреклонный в этом вопросе, приказал преследовать его как виновного в растрате. Цецина, разгневанный, будто с ним поступили несправедливо, решил все перевернуть; и, чтобы спастись от угрожавшего лично ему пожара, он задумал поджечь республику. В нем было все, чтобы завоевать солдат: блистательная молодость, высокий и статный вид, безграничная отвага и честолюбие; речи его были живы и пламенны, поступь горделива, глаза полны огня. Никто не мог быть способнее довести до крайностей столь дурно настроенную армию, как та, в которой он занимал важный пост.

Все способствовало усугублению зла. Народы Трира, Лангра и других галльских городов [7], принявшие сторону против Виндекса [8] и испытавшие суровость Гальбы, смешивали свои жалобы с ропотом солдат, рассеянных среди них, и пугали их даже мнимыми опасностями.

Дело зашло так далеко, что послы из Лангра, прибывшие по древнему обычаю принести легионам символы гостеприимства и дружбы [9], едва не вызвали своими речами мятеж в армии; а когда Гордеоний Флакк приказал им тайно уехать ночью, распространился слух, что он велел их убить. Вследствие этого встревоженные легионы объединились для взаимной защиты тайным союзом, к которому присоединились даже вспомогательные войска, ранее враждовавшие с ними. Ибо, как говорит Тацит, дурные люди легче сговариваются для войны, чем сохраняют согласие в мирное время.

В таком положении дел наступило 1 января – день возобновления присяги на верность императорам. Легионы Нижней Германии под командой Вителлия принесли ее, но с большим трудом и признаками отвращения. Только старшие офицеры произнесли слова клятвы; остальные хранили молчание, каждый ожидал, что сосед проявит инициативу, и все, как обычно в щекотливых случаях, готовы были с жадностью последовать тому, чего никто не решался начать. Заговор недовольства был всеобщим; однако между легионами были различия: солдаты Первого и Пятого легионов дошли до наглости швырять камнями в изображения Гальбы; Пятнадцатый и Шестнадцатый не выходили за рамки ропота и угроз.

В армии Верхнего Рейна четвертый и восемнадцатый легионы без всяких церемоний отвергли Гальбу, разбив его изображения; и чтобы избежать упреков в открытом мятеже против империи, солдаты принесли присягу сенату и римскому народу – именам, давно забытым. [Примечание: Имеется в виду, что формально солдаты присягали республиканским институтам, но на деле это был лишь предлог для отказа от верности Гальбе.] Понятно, что в таком движении некоторые выделялись смелостью и становились заметными как вожаки и знаменосцы мятежа. Однако никто не произносил речей и не взбирался на возвышение, чтобы быть услышанным солдатами, потому что у них еще не было того, перед кем можно было бы выслужаться подобным образом.

Главкомандующий Гордеоний Флакк не предпринял никаких усилий, чтобы усмирить ярость мятежников; он не пытался ни удержать колеблющихся в повиновении, ни ободрить верных. Вялый, трусливый, робкий и свободный от пороков лишь потому, что у него не хватало сил быть порочным, он оставался простым зрителем беспорядков, которые должен был предотвратить. Легаты легионов и трибуны подражали бездействию начальника. Лишь четверо центурионов осмелились проявить рвение в защиту Гальбы и его изображений от оскорблений мятежников. Но они только разъярили солдат, которые схватили их и заковали в цепи. После этого примера не осталось и следа ни верности, ни памяти о присяге, данной Гальбе; и, как обычно бывает в мятежах, мнение большинства вскоре стало единственным и увлекло за собой всех.

В ночь с первого на второе января солдат, несший орла четвертого легиона, прибыл в Кёльн, где находился Вителлий, и, застав его за столом, сообщил, что его легион и восемнадцатый отказались повиноваться Гальбе и присягнули именам сената и римского народа. Эта присяга явно была лишь предлогом: решили ухватиться за судьбу, пока она еще не определилась, и не сомневались, что Вителлий должен предложить себя войскам, искавшим императора. Он немедленно отправил гонцов к подчиненным ему легионам и их командирам, сообщив, что армия Верхнего Рейна более не признает власти Гальбы; следовательно, если это считать мятежом, нужно готовиться к войне, а если предпочесть единство и мир – избрать нового императора. И в последнем случае он намекал, что гораздо безопаснее выбрать того, кто уже под рукой, чем искать неизвестного претендента вдали.

Первый легион был ближе всего, а Фабий Валент – самым горячим из старших офицеров. На следующий день он явился в Кёльн с отрядом кавалерии и провозгласил Вителлия императором. Это провозглашение сопровождалось такой непристойностью, которую можно было бы извинить поспешностью, если бы новый император не добавил к ней манер низких и совершенно презренных. Солдаты вытащили его из комнаты в обычной одежде, без всяких

знаков достоинства, и понесли по улицам, в то время как он держал в руке обнаженный меч, который, как говорили, принадлежал Юлию Цезарю и хранился в Кёльне в храме бога войны. После церемонии, вместо того чтобы вернуться в свою штаб-квартиру, Вителлий сел за стол в доме, где ему приготовили угощение, и вышел оттуда лишь тогда, когда помещение охватила огонь. Все присутствующие испугались этого происшествия, как зловещего предзнаменования. «Будьте уверены, – сказал Вителлий, – это свет, пришедший нам на помощь». И это, если верить Светонию, было все, что он сказал солдатам в столь важный момент.

Это поведение, столь недостойное величия верховной власти, не помешало ему быть немедленно признанным всеми легионами Нижней Германии; точно так же армия Верхней Германии, забыв о именах сената и римского народа, которыми прикрывалась, присягнула на верность Вителлию – явное доказательство того, что в предыдущие два дня республика была для нее лишь предлогом, а не предметом искренней преданности.

Жители Кёльна, Трира и Лангра соперничали в рвении с армиями, предлагая войска, лошадей, оружие, деньги. Это было настоящее соревнование между городами и частными лицами, причем не только среди начальников колоний и высших офицеров, которые, будучи богаты, могли делать такие предложения без стеснения и к тому же питали после победы самые лестные надежды; даже рядовые солдаты приносили свои скромные сбережения, а те, у кого не было денег, отдавали портупей, военные украшения, посеребренные доспехи – то ли в каком-то исступлении, то ли из корысти.

Вителлий, стараясь похвалить усердие, которое ему выказывали солдаты, принял имя Германика, которым они его наградили; но по каким-то причинам он отказался от титула Цезаря, а звание Августа, не отвергая окончательно, отложил на потом. Вначале он принял несколько довольно разумных мер: поручил римским всадникам ряд должностей, которые прежние императоры отдавали вольноотпущенникам; проявил к солдатам ту же снисходительность, которую мы уже отмечали и хвалили у Оттона, и распорядился, чтобы казна выплачивала за них те поборы, которые центурионы вносили со своих подчиненных.

Толпа, всегда неистовая в революциях, в которых принимает участие, требовала смерти многих людей. В таком правителе, как Вителлий, уже было достоинством то, что он не всегда удовлетворял эти кровавые требования и иногда обманывал их хитростью, заковывая в цепи тех, чья смерти добивались. Ибо среди этих неистовых людей он мог открыто проявлять жестокость, но для того чтобы проявить милосердие, ему приходилось их обманывать. Так был спасен Юлий Бурдон, командующий рейнской флотилией. Он способствовал гибели Фонтея Капитона, и солдаты, капризу которых было угодно мстить за него (хотя при жизни у них не было особых причин его любить), требовали смерти Бурдона. Вителлий приказал арестовать его, а когда старые ненависти забылись, даровал ему свободу. Цивилис, знаменитый батав, который впоследствии доставил римлянам немало хлопот, также был спасен в описываемый момент от мести солдат, считавших его, вероятно, предателем империи. Он был заподозрен Фонтеем Капитоном в мятежных замыслах, отправлен при Нероне в Рим, но оправдан Гальбой. Вителлий пощадил его из политических соображений, чтобы не раздражать гордый народ, среди которого Цивилис занимал высокое положение. Среди тех, чья смерть новый император разрешил по требованию солдат, наиболее примечательны четверо центурионов, сопротивлявшихся мятежу против Гальбы. Их верность была преступлением, которое мятежники не прощали.

Партия Вителлия, уже весьма могущественная сама по себе, вскоре еще более усилилась. Германские войска задавали тон соседним провинциям. Валерий Азиатик, командовавший в Бельгике, и Юний Блез, наместник Лугдунской Галлии, признали Вителлия. Войска, охранявшие Рецию, последовали их примеру. Армия Британии, несмотря на внутренние раздоры и несогласие со своим начальником, также объединилась в поддержку нового императора. Ею командовал Требеллий Максим – человек вялый и неопытный в военном деле, презирае-

мый за трусость и вдобавок ненавидимый за алчность и вымогательства. Легат легиона Росций Целий [Roscius Caelius] разжег недовольство войск, и мятеж вспыхнул с такой силой, что Требеллий вынужден был бежать и скрываться, спасая жизнь. Впрочем, он вернулся и был принят армией, позволившей ему сохранить видимость командования; по некоему соглашению генерал купил свою безопасность, попустительствуя солдатам. Но даже этот позорный компромисс оказался недолгим. Требеллию пришлось бежать вновь, и, переплыв море, он искал убежища у Вителлия. Эта армия не приняла активного участия в гражданской войне, но само ее имя укрепляло партию, которую она поддержала. Вителлий, видя, что в тылу у него не осталось ни одной провинции или войска, не склонных к нему, разработал план завершения своего предприятия и установления вооруженной рукой своей власти в сердце империи.

Его подгоняло рвение войск, ибо не было ничего более противоположного, чем Вителлий и его армия. Солдаты громко требовали оружия, пока галлы пребывали в страхе, а Испания колебалась. Суровость зимы не казалась им препятствием. Ненавидя промедление, они желали немедленно двинуться на Италию и завладеть Римом. Они говорили, что в гражданских распрях быстрота невероятно важна и что действовать надо больше, чем совещаться. Вителлий же, напротив, предавался лени. Жить в праздной роскоши, обильно уставлять стол яствами – вот что он считал наслаждением властью. Тучный, с полудня утопающий в вине, он совершенно пренебрегал делами. Но этот дурной пример не влиял на солдат, проявлявших рвение, будто их воодушевлял бдительный император горячими речами. Так что, когда я говорю, что Вителлий разработал военный план, следует понимать, что его составили высшие офицеры от его имени.

Было решено, что два корпуса – один в сорок тысяч, другой в тридцать тысяч человек – выступят вперед под командованием Валенса и Цецины, а император последует за ними с еще большими силами. Валенсу приказали склонить Галлию на сторону Вителлия или опустошить ее в случае отказа и вступить в Италию через Коттийские Альпы [10]. Цецине был назначен более короткий путь через Пеннинские Альпы [11]. Как только эти распоряжения стали известны, солдаты настоятельно потребовали сигнала к выступлению. Похоже, времени не теряли, ибо они выступили еще до получения известия о смерти Гальбы, убитого, как я говорил, пятнадцатого января.

Тацит отметил как доброе предзнаменование появление орла, показавшегося во главе армии Валенса при ее выступлении и сопровождавшего ее некоторое время. Если в этом происшествии, правдивом или вымышленном, и есть что-то достойное внимания, так это суеверная доверчивость историка.

Валенс пересек земли треверов без предосторожностей и без опасений, ибо народ был предан партии Вителлия. Но в Диводуре (ныне Мец), хотя их встретили весьма радушно, солдат внезапно охватила бешеная ярость: они бросились к оружию – не для грабежа, а для убийства жителей, без причины, без повода, единственно из свирепости и иступления. Поскольку причина этой внезапной ярости оставалась неизвестной, унять ее было еще труднее. Впрочем, в конце концов мольбы командира успокоили солдат и спасли город от полного разрушения, но лишь после того, как погибли четыре тысячи человек. Этот ужасный пример поверг галлов в смятение, и везде, где проходила армия, целые города выходили навстречу с магистратами, женщины и дети падали ниц вдоль дорог, и все средства, какие только слабость может употребить, чтобы смягчить разгневанных сильных, были пущены в ход.

В землях лейков (ныне епархия Туля) Валенс получил известие о смерти Гальбы и возведении Оттона на престол. Эта перемена мало повлияла на солдат, которым было все равно, сражаться ли против Оттона или Гальбы. Но она решила выбор галлов, ненавидевших и Оттона, и Вителлия в равной мере: Вителлия они боялись, и этот страх склонил чашу в его пользу.

Затем армия прошла через земли дружественного города Лангра, где была принята очень хорошо и, со своей стороны, держалась скромно и дисциплинированно. Но радость была недолгой. В той местности находились восемь когорт батавов, которые должны были следовать

за Четырнадцатым легионом как вспомогательные войска, но отделились от него во время беспорядков, предшествовавших смерти Нерона. Они направлялись в Британию, тогда как Четырнадцатый легион был в Далмации. Валенс, встретив эти когорты в Лангре, присоединил их к своей армии. Батавы затеяли ссору с легионерами, солдаты других частей разделились между двумя противоборствующими сторонами, и дело едва не дошло до всеобщей схватки. Валенс воспользовался властью командира и, казнив нескольких батавов, заставил остальных вспомнить почти забытые чувства уважения и повиновения величию империи.

Он тщетно искал предлога для войны с эдуями. Он требовал у них денег и оружия, а они, сверх того, бесплатно снабжали его провиантом. Их действия диктовались страхом. Жители Лиона вели себя так же, но от чистого сердца и из преданности. Ненависть к Гальбе уже давно склонила их к Вителлию. В Лионе Валенс нашел Италийский легион и кавалерийский отряд, который мы, по-нашему, назвали бы Туринским полком [12], и взял их с собой. Здесь Тацит отмечает придворную хитрость этого генерала. Италийским легионом командовал Манлий, оказавший немалые услуги партии Вителлия. Валенс, которому он, видимо, мешал, тайно очернял его доносами, публично же превозносил, чтобы тот не остерегался. Хитрость удалась: Вителлий пренебрег офицером, которому был обязан и который мог быть ему полезен.

Я уже говорил в другом месте [13], что города Лион и Вьенн были двумя соперниками, которые всегда смотрели друг на друга с враждой и ревностью. Привязанность лионцев к Нерону внушила вьеннцам большое рвение к Гальбе. В результате между ними происходили стычки, они опустошали земли друг друга с таким ожесточением, что ясно показывали: их двигали интересы, далекие от защиты Гальбы или Нерона. Гальба, оставшись победителем, наказал лионцев и наградил вьеннцев – что стало новым поводом для взаимной ненависти, которую лишь разжигала близость соседства.

Появление Валенса с мощной армией показалось лионцам самым благоприятным случаем, какой они только могли желать, чтобы удовлетворить свою месть. Они постарались заразить войска всей своей яростью и преуспели в этом настолько, что солдаты хотели разграбить и сравнять с землей Вьенн, а их командиры не верили, что смогут сдерживать эту ярость. Вьеннцы, охваченные тревогой, вышли со всеми атрибутами умоляющих, бросились на колени перед солдатами, простирались перед ними и со слезами молили о пощаде. В то же время Валенс выдал каждому по триста сестерциев. Тогда воины стали сговорчивее: древность и слава колонии Вьенна подействовали на их умы, и они оказались готовы прислушаться к увещаниям своего полководца.

Тем не менее вьеннцы были разоружены и истожили себя подарками и поставками всякого рода для нужд солдат. Однако они считали себя еще очень счастливыми, что отделались такой ценой. Ходили слухи, что они купили покровительство Валенса крупной суммой, и это весьма правдоподобно. Этот офицер, долгое время живший в крайней стесненности, внезапно разбогател и плохо скрывал перемену в своей судьбе. Долгая нужда лишь разожгла его страсти, и он предавался им без меры – расточительный старик, после того как в молодости боролся с бедностью.

Медленно продвигаясь через земли аллоброгов и воконтиев [14], он продавал свои переходы и стоянки, вступая в позорные сделки с землевладельцами на своем пути. Он действовал так тиранически, что едва не поджег город Люк [15] в стране воконтиев, когда ему не сразу принесли требуемую сумму. Если денег не хватало, то ценой за его снисхождение становилась честь девушек и женщин. Так он добрался до подножия Альп.

Цецина шел через земли гельветов, которые от мужества и гордости своих предков сохранили лишь знаменитое имя, не имея ни настоящей силы, ни стойкости. Они не знали о смерти Гальбы и потому отказались подчиниться Вителлию. Кроме того, довольно незначительный инцидент вызвал ссору между ними и римскими солдатами. Цецина, жаждавший грабежа и крови, поспешил развязать войну. Гельветы, видя яростное нападение, собрались в войско,

но, отвыкшие от битв, не знавшие строя и не умевшие обращаться с оружием, были изрублены в куски, их земли разорены, а столица – город Авенш – оказалась под угрозой осады. Не имея возможности сопротивляться, они покорились победителю. Цецина приказал отрубить голову одному из вождей племени, Юлию Альпину, а решение о судьбе остальных оставил Вителлию.

Послы гельветов застали императора и его легионы в самом недоброжелательном к ним настроении. Солдаты требовали истребить весь народ и потрясали сжатыми кулаками и обнаженными мечами перед лицами послов. Сам Вителлий не скупился на упреки и угрозы. Красноречие Клавдия Косса, оратора посольства, спасло его родину. Он говорил дрожащим голосом, растерянный, со слезами на глазах, и его речь, полная скорби, тронула толпу, всегда готовую переходить от одной крайности к другой – столь же быструю в сострадании, сколь и в ярости. Солдаты, изменившись в лице, смешали свои слезы со слезами умоляющих и, укрепившись в милосердии так же, как прежде жаждали жестокости, выпросили у Вителлия прощение для гельветов.

Цецина оставался в их земле, ожидая решения и приказов императора. Когда он получил их и готовился перейти Альпы, до него дошла весть, что отряд кавалерии, некогда служивший под началом Вителлия в Африке и переброшенный Нероном в Италию для упомянутого плана экспедиции в Египет, перешел на сторону своего прежнего командира и принес ему клятву верности. Этот кавалерийский отряд находился теперь в окрестностях По и, не довольствуясь собственным присоединением к Вителлию, склонил на его сторону четыре важных города: Милан, Новару, Иврею и Верчелли. Цецина, обрадованный таким удачным началом и понимая, что отряд, насчитывавший не более тысячи всадников, не сможет удержать столь обширную территорию, быстро выслал значительный отряд пехоты и конницы, а сам с главными силами перешел через Пеннинские Альпы, еще покрытые снегами.

Пока Вителлий готовился к войне с такой грозной решимостью, он нередко получал от Оттона письма, полные слащавых уверений, призывавших к миру и предлагавших деньги, почетное положение и любое место для уединения, где он мог бы провести свои дни в изобилии и наслаждениях. Вителлий отвечал в том же тоне, и какое-то время с обеих сторон продолжалась эта нелепая и непристойная игра. Затем любезности сменились оскорблениями, и в письмах они взаимно упрекали друг друга во всевозможных бесчинствах и мерзостях – и оба говорили правду.

Оттон также хотел выяснить настроения войск противника и велел сенату отправить к двум германским армиям несколько депутатов. Те остались при Вителлии, к которому примкнули так легко, что даже не сохранили видимости приличия и лишили себя оправдания вынужденностью. Офицеры гвардии, которых Оттон присоединил к ним якобы для почета и сопровождения, были отосланы прежде, чем успели сблизиться с легионами. Валенс поручил им доставить письма от германских армий к преторианским когортам и городским войскам. В них с преувеличениями говорилось о могуществе партии Вителлия, предлагалось жить в согласии, упрекали за желание передать власть Оттону, тогда как Вителлий получил ее первым, и испытывали их верность обещаниями и угрозами, указывая на неравенство сил в случае войны, но заверяя, что они ничего не потеряют при мире. Однако преторианцы были слишком преданы Оттону, чтобы поколебаться.

После попыток подкупа последовали тайные козни. Вителлий и Оттон взаимно посылали друг против друга убийц. Люди Вителлия легко скрывались в Риме, а эмиссары Оттона были быстро раскрыты: новые лица сразу выдавали себя в лагере, где все знали друг друга.

В Риме у Вителлия оставались мать, жена и дети. Он написал Сальвию Тициану, брату Оттона, что если с ними случится какая-либо беда, то он ответит за это своей головой и головой сына. Оба дома уцелели, но слава милосердия принадлежит Вителлию: ведь мягкость Оттона можно объяснить страхом, тогда как к победителю подобное подозрение неприменимо.

До сих пор я говорил лишь о силах партии Вителлия. Но и партия Оттона была не менее сильна. Кроме Италии, преторианских и городских когорт, за него были легионы Далмации, Паннонии и Мёзии, присягнувшие ему на верность. Это была его настоящая и прочная опора. Заморские провинции и весь Восток, Египет и Африка также принесли ему клятву, но не из привязанности к его личности. Имя Рима и величие сената много значили в этих отдаленных землях, и там естественно склонялись к признанию того императора, который был утвержден в Риме. Кроме того, Оттон был первым из двух соперников, чье возвышение дошло до них и заранее расположило умы.

Вителлий тоже имел в своем лагере провинции, которые примкнули к нему по обстоятельствам, а не из истинной преданности. Аквитания, Испания и Нарбонская Галлия держались его лишь из страха. Испания сначала даже объявила себя за Оттона, и проконсул Клувий Руф был восхвален в объявлении, которое Оттон приказал вывесить в Риме. Но вскоре стало известно, что он переменял сторону. Аквитания также колебалась. Таким образом, силы Оттона и Вителлия были уравновешены, и исход борьбы казался крайне неопределенным.

Вот военный план, который составил Оттон. Поскольку он знал, что переходы через Альпы уже заняты войсками Вителлия, он решил атаковать Нарбонскую Галлию с моря и с этой целью снарядил флот. Те, кто находился на этом флоте, проявляли к нему чрезвычайное рвение. В первую очередь это были остатки морского легиона, так жестоко обойденного Гальбой. К ним Оттон присоединил городские когорты и отряд преторианцев, на верность которых он настолько полагался, что даже считал их надзирателями за лояльностью командиров. Этими командирами были два первых легионных центуриона и трибун, разжалованный Гальбой и восстановленный Оттоном. Они командовали войсками. Забота о кораблях лежала на вольноотпущеннике Оске – должность, превышавшая его статус, но Оттон больше доверял человеку такого положения, чем тем, кто был знатного происхождения и занимал более высокое положение.

Сам он возглавил сухопутную армию, чтобы выступить навстречу легатам Вителлия. Для командования под его началом он выбрал самых опытных генералов, которых тогда имел Рим: Светония Паулина, чьи подвиги, описанные в предыдущих книгах, заслуживают похвалы; Мария Цельса, воина, полного энергии; Анния Галла, чьей отличительной чертой была рассудительность. Однако он не полностью полагался на их преданность ему и сохранял все свое доверие для Лициния Прокула, одного из двух префектов претория, отличного офицера для службы в охране, но совершенно неопытного в войне, к тому же злобного клеветника, умевшего исказить даже хорошие качества других и ловко внушать принцепсу подозрения и недоверие к людям, сочетавшим прямооту и скромность с выдающимися талантами.

Перед отъездом, опасаясь, что его отсутствие может вызвать волнения в Риме, он счел необходимым принять меры предосторожности, не всегда сообразуясь с принципами строгой справедливости. Долабелла был ему подозрителен – не из-за каких-либо проявлений честолюбия или интриганства, а из-за имени, которое он носил (одного из самых знаменитых в древней знати), из-за родства с Гальбой и потому, что он был в числе кандидатов на усыновление этим императором. Оттон счел эти причины достаточными, чтобы взять Долабеллу под стражу. Он сослал его в Аквин [16] и приказал держать под присмотром. По тем же причинам он взял с собой нескольких магистратов и большую часть консуляров – не для того, чтобы пользоваться их советами или услугами, а чтобы иметь их под рукой и в своей власти. Среди них был Луций Вителлий, которого он ничем не выделял, не обращаясь с ним ни как с братом императора, ни как с братом своего врага.

Для Рима военные приготовления были в новинку. С тех пор как Август даровал республике мир, римский народ знал только далекие войны, тревоги и слава которых касались лишь главы империи. При Тиберии и Калигуле бояться приходилось лишь бедствий тиранического мира. Выступление Скрибониана Камилла против Клавдия было подавлено в зародыше, и у людей не было времени встревожиться. Нерона погубила лишь весть о восстании двух про-

винций, а не их оружие. Теперь же люди видели, как движутся легионы и флоты, и – что было неслыханно – преторианские и городские когорты отправляются на битву.

Таким образом, в Риме царил хаос, и ни один класс граждан не был избавлен от страха. Первые лица сената – слабые старики, привыкшие за долгий мир к спокойной жизни; изнеженная знать, забывшая военное ремесло; всадники, не имевшие опыта службы и никогда не ходившие в походы, – все дрожали, и их ужас проявлялся в попытках скрыть его. Однако были и другие, настроенные совершенно иначе. Война пробуждала в них честолюбие, но безумное честолюбие, заставлявшее их стремиться к блеску через расточительность. Они запасались дорогим оружием, прекрасными конями, роскошными экипажами. Для некоторых важным делом был стол, и они закупали, как военные припасы, все, что питает роскошь и разжигает страсти. Мудрые вздыхали о мире, который ускользал, и заботились о благе государства; легкомысленные, погруженные в настоящее и не думавшие о будущем, опьянялись пустыми надеждами. Беспорядок устраивал многих, кто, разорив свои дела и потеряв всякий кредит, боялся мира и видел спасение только в общей смуте. Простой народ, чьи взгляды всегда ограничены тем, что его непосредственно касается, начал ощущать бедствия войны через нехватку денег и рост цен на продовольствие. Ничего подобного он не испытывал во время движения Виндекса, которое закончилось в провинции схваткой между германскими легионами и галлами.

Оттон делал все возможное, чтобы положить конец этим бедствиям, ускоряя решение. Он не терпел промедления, утверждая, что оно погубило Нерона, а быстрота Цецины, уже перешедшего Альпы, подгоняла его выступить в поход.

Четырнадцатого марта он созвал сенат, чтобы поручить заботу о республике его бдительности – акт доброты и доверия. В то же время, стараясь завоевать сердца проявлением милосердия и справедливости, он вернул вернувшимся из изгнания конфискованное имущество, которое еще не поступило в фиск, а также девять десятых даров Нерона, отобранных Гальбой. Этот дар был очень уместен и выглядел великолепно, но его результат оказался незначительным из-за рвения и тщательности фискальных чиновников, оставивших почти ничего.

Оттон также обратился с речью к народу, в которой превозносил достоинство столицы и ссылаясь на августейшее одобрение всего сената. О сторонниках Вителлия он отзывался весьма умеренно, обвиняя их скорее в предвзятости и невежестве, чем в злой воле и дерзости. О самом Вителлии он не сказал ни слова. Тацит сомневается, следует ли приписывать эту осторожность самому Оттону или тому, кто составлял для него речи. Общественное мнение приписывало их Галерию Трахалу, известному оратору, о котором я упоминал ранее: в них узнавали его стиль. Аплодисменты толпы, привыкшей лстить, были столь же чрезмерны, сколь лживы и лицемерны. Это были горячие пожелания, проявления пылкой привязанности, как если бы провожали диктатора Цезаря или императора Августа. Так низко привычка к рабству опустила римский народ. Он стал народом рабов, где каждый, занятый личной выгодой, не считался с приличиями и общественной честностью. Уезжая, Оттон поручил своему брату Сальвию Тициану замещать его в городе и управлять делами империи в его отсутствие.

Он отправил вперед значительный отряд войск, состоявший из пяти преторианских когорт, первого легиона и некоторого количества кавалерии. К ним он присоединил две тысячи гладиаторов – подкрепление, мало достойное для партии, которая его использовала, но все же применявшееся в гражданских войнах даже вождями, соблюдавшими правила. Во главе этих войск были поставлены Анний Галл и Вестриций Спуринна с приказом оспаривать у врага переход через По, поскольку альпийский рубеж был уже преодолен. Сам Оттон следовал за ними на небольшом расстоянии с остальными преторианскими когортами и всеми имевшимися у него силами. Он не стал ждать четыре легиона, шедших к нему из Далмации и Паннонии, три из которых были *veteranorum*. Четырнадцатый легион, особенно прославившийся своими подвигами в Британии под командованием Светония Паулина, был выбран Нероном для экспедиции, которую он задумал незадолго до своей гибели, и это предпочтение еще больше под-

няло дух его солдат, а их привязанность к Нерону переносилась на Отона. Эти четыре легиона, выслав вперед отряд в две тысячи человек, двинулись в путь, но медленно. Спор был решен до их прибытия.

Покидая Рим, Оттон, казалось, оставил в нем вкус к роскоши и удовольствиям. Облаченный в железные доспехи, он шел пешком во главе войск, покрытый пылью, небрежный в одежде, совершенно непохожий на прежнего себя [17]. Он умел быть тем, кем требовали обстоятельства и нужда его дел.

Вначале фортуна благоволила Отону и подавала ему лестные надежды. Его флот, хотя и очень плохо управляемый, подчинил ему все морское побережье Лигурии и Нарбонской Галлии. Как я уже говорил, командовали им трибун и два центуриона. Солдаты, плохо соблюдавшие дисциплину, заковали трибуна в цепи. Один из центурионов не имел никакого авторитета; другой, по имени Суедий Клемент, не столько командовал войсками, сколько угождал им. Но если он был более способен развращать, чем поддерживать порядок, то, с другой стороны, отличался храбростью и страстным желанием отличиться.

Флот, где солдаты были хозяевами, не мог не вызывать странных беспорядков. Продвигаясь вдоль Лигурии, они повсюду высаживались и вели себя так, что их никак нельзя было принять за национальные войска, патрулирующие берега своей родины. Это были враги, чинившие всевозможные насилия. Они грабили, опустошали, предавали всё огню и мечу, и разрушения были тем ужаснее, что против них никто не оборонялся. Поля были полны богатств, которые дарит земля, дома стояли открытыми. Жители вместе с жёнами и детьми выходили навстречу солдатам с полной уверенностью, внушённой мирным временем, и встречали ужасы войны. Ни одна область не пострадала сильнее, чем Приморские Альпы [18], которые Марий Матур, управляющий этой территорией, попытался защитить с помощью набранных им горцев. Но регулярные войска без труда рассеяли толпу варваров, не знавших никакой дисциплины, равнодушных как к славе победы, так и к позору бегства. На бедной нации нечего было пограбить; даже пленных взять не удалось, ведь эти проворные люди одним ловким прыжком взбирались на вершины гор. Победители обрушились на город, называвшийся тогда Альбиум Интемелий, а ныне – Вентимилья, и утолили свою жадность за счёт несчастных жителей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.